

William Shakespeare
VENUS AND ADONIS



У. Шекспир
ВЕНЕРА И АДОНИС



ЛЕТНИЙ САД

W. Shakespeare

VENUS AND ADONIS



У. Шекспир

ВЕНЕРА И АДОНИС

Поэма

Перевод с английского

В. Ладогина



ЛЕТНИЙ САД

МОСКВА · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ · 2001

ББК 84(4Вел)-44
Ш41



Редактор
А. Железцов

Корректор
Т. Шаманова

Художник
Н. Шаховской

Макет и вёрстка
В. Васильев

Сдано в печать
24.7.2001

Уч.-изд. л. 3,9

Гарнитура
«New Baskerville»
Формат 70×100/32
Тираж 2000 экз.
Заказ № 3326

ЗАО ИТД
«ЛЕТНИЙ САД»
Москва, 121069,
Б. Никитская, 46
Издат. лицензия
ИД №03439 от
5 декабря 2000 г.

Книга отпечатана в
ПФ «Полиграфист»
160001, Вологда,
ул. Челюскинцев, 3

Шекспир У.

Венера и Адонис / Пер. с англ. В. Ладогин; Коммент. М. Мельниковой; Худож. Н. Шаховской. — М.; СПб.: Летний сад, 2001. — 127 с.

Малоизвестный в России поэтический шедевр. Греческий миф под пером великого драматурга стал трагикомедией «о свойствах страсти».

Перевод В. Ладогина, осознанно полемичный по отношению к академической традиции, без особых потерь доносит до читателя уникальный сплав шекспировской высокой вульгарности с насмешливой философичностью.

ISBN 5-94381-006-4

© «Летний сад», перевод,
оформление, 2001

Vilia miretur vulgus; mihi flavus Apollo
Pocula Castalia plena ministret aqua.

Ovidius. «De Amore»

Дешевка изумляет толпу; пусть Аполлон
рыжеволосый мне доставит чаши,
полные кастальской воды.

Овидий. «О любви»

To the Right Honourable Henry Wriothesly,
earl of Southampton, and baron of Titchfield.

RIGHT HONOURABLE,

I know not how I shall offend in dedicating
my unpolished lines to your Lordship, nor
how the world will censure me for choosing
so strong a prop to support so weak a burden:
only, if your honour seem but pleased,
I account myself highly praised, and vow
to take advantage of all idle hours, till I have
honoured you with some graver labour.
But if the first heir of my invention proved
deformed, I shall be sorry it had so noble a
godfather, and never after ear so barren a
land, for fear it yield me still so bad a harvest.
I leave it to your honourable survey, and your
honour to your heart's content; which I wish
may always answer your own wish and the
world's hopeful expectation.

Your Honour's in all duty,
WILLIAM SHAKESPEARE

Достопочтенному Генри Райзли,
графу Саутгемптону и барону Тичфилду

ВАША СВЕТОСТЬ,

Не знаю сам, как я осмелился посветить Вам, милорд, мои корявые строки, не знаю, простит ли мне свет выбор столь мощной опоры при столь легком бремени, но если мой дар не оскорбит Вашего достоинства, то я почту это высшею наградой, и поклянусь не знать отдыха, пока не напишу в Вашу честь труд более весомый. Если же первое дитя моих фантазий окажется недостойным Вас, я мне будет стыдно за то, что я выбрал для него такого благородного крестного отца, и я с тех пор уже не осмелюсь возделывать столь бесплодную почву, чтобы не получить вновь такого плохого урожая. Я оставляю это произведение на Ваш достопочтенный суд, суд чести и сердца; и желаю исполнения всех Ваших желаний и всех надежд, которые возлагает на Вас мир.

Остаюсь покорным слугой *Вашей чести,*

Уильям ШЕКСПИР

EVEN as the sun with purple-colour'd face
Had ta'en his last leave of the weeping morn,
Rose-cheek'd Adonis hied him to the chase;
Hunting he lov'd, but love he laugh'd to scorn;
Sick-thoughted Venus makes amain unto him,
And like a bold-fac'd suitor 'gins to woo him.

'Thrice fairer than myself,' thus she began,
'The field's chief flower, sweet above compare,
Stain to all nymphs, more lovely than a man,
More white and red than doves or roses are;
Nature that made thee, with herself at strife,
Saith that the world hath ending with thy life.

'Vouchsafe, thou wonder, to alight thy steed,
And rein his proud head to the saddle-bow;
If thou wilt deign this favour, for thy meed
A thousand honey secrets shalt thou know:
Here come and sit, where never serpent hisses;
8 And being set, I 'll smother thee with kisses:



По месту мокрому в глазах зари
С надутых солнца щек ударил луч.
Адонис вскачь. Вон там, верхом — смотри,
Как краснощеки! Борзые лают с кручи,
Сама Венера мальчику смешна,
Как нищенка, визжит сквозь песий лай она!

«Самой себя мне ты милей трикрат!
Царь-цветик полевой, мой несравненно сладкий!
По мненью нимф, всех краше ты подряд
Краснее да белее голубка у розы в грядке.
Тебя природа в муках родила,
Боясь, как бы с тобой не умерла.

Эй, прелесть, не сошел бы ты с коня,
Да к ветке повод бы не подвязал,
Седло оставив! Спрыгни, вся твоя
Здесь сладких тайн Венераина казна!
Сюда садись, где нет шипенья змей,
И жарким поцелуем кровь согрей!



'And yet not cloy thy lips with loath'd satiety,
But rather famish them amid their plenty,
Making them red and pale with fresh variety;
Ten kisses short as one, one long as twenty:
 A summer's day will seem an hour but short,
 Being wasted in such time-beguiling sport.'

With this she seizeth on his sweating palm,
The precedent of pith and livelihood,
And, trembling in her passion, calls it balm,
Earth's sovereign salve to do a goddess good:
 Being so enrag'd, desire doth lend her force
 Courageously to pluck him from his horse.

Over one arm the lusty courser's rein,
Under her other was the tender boy,
Who blush'd and pouted in a dull disdain,
With leaden appetite, unapt to toy;
 She red and hot as coals of glowing fire,
10 He red for shame, but frosty in desire.

The studded bridle on a ragged bough
Nimble she fastens;—O! how quick is love:—
The steed is stalled up, and even now
To tie the rider she begins to prove:
 Backward she push'd him, as she would be thrust,
 And govern'd him in strength, though not in lust.

Не вороти пресыщенного рта,
Но, полный меда, раскрывай для меда!
То бледна, то кровава ласк черта,
Сто чмоков мигом и взасос, как в воду!
 День лета красного умчится часом,
 Мы вкусно сгубим сутки первым классом!»

И хватъ ладонь, и жадно лижет пот,
Мча рядом с поводом, и запах крепыша,
Дрожа, сквозь ноздри тянет, точно пьет,
Хрипя: «Мне сладко!» Екнула душа
 У Зевса аж. Придал он дочке сил.
 Пал отрок в прах, чтоб возвенчать злой пыл.

Одной рукой смиряя скакуна,
Касается до цветика другой.
Он ал, он бел, свинец, как с бодуна,
Пульсирует под потною шлеей,
 Она красней угля и жарче плит.
 Он — лед, лишь на щеках сверкает стыд.

11

Нашедши ветку для узды кривую,
Мастачит привязь — расторопна страсть.
«С конем порядок. Дай ка обмозгую,
Как спутать всадника». Мгновенно — шась!
 Толк парня навзничь, как бы вся в испуге.
 Скок на него! да в чреслах нет натуги...

So soon was she along, as he was down,
Each leaning on their elbows and their hips:
Now doth she stroke his cheek, now doth he frown,
And 'gins to chide, but soon she stops his lips;
 And kissing speaks, with lustful language broken,
 'If thou wilt chide, thy lips shall never open.'

He burns with bashful shame; she with her tears
Doth quench the maiden burning of his cheeks;
Then with her windy sighs and golden hairs
To fan and blow them dry again she seeks:
 He saith she is immodest, blames her miss;
 What follows more she murders with a kiss.

Even as an empty eagle, sharp by fast,
Tires with her beak on feathers, flesh and bone,
Shaking her wings, devouring all in haste,
Till either gorge be stuff'd or prey be gone;
 Even so she kiss'd his brow, his cheek, his chin,
 And where she ends she doth anew begin.



Хотя его в паденье догнала,
Оперся он о локоть, и она
Да сбоку по щеке! Он: «Как могла?!»
Лишь рот открыл — уж там ее слюна.
И речь ее, сквозь трудное дыханье:
«Чур — не ругаться — придушу губами!»

Позорно красен он. Она же плачет...
Моля, слезами тушит жар щеки,
Ветр с губ летит, золотая грива машет,
Мокрит юнца, трет локоном сухим —
«Оставьте эту гадость, госпожа!» —
Но давит на язык язык, дрожа.

Так клюв трясется у орлицы жрущей,
Рвя яро жир, из плоти кость трясся,
С рывками страшных крыл, в прах, в пух, все, вся!
Дотла, или до сытости гнетущей,
Так лоб, ланиты, бороду сосет,
И как покончит — сызнава начнет.



Forc'd to content, but never to obey,
Panting he lies, and breatheth in her face;
She feedeth on the steam, as on a prey,
And calls it heavenly moisture, air of grace;
 Wishing her cheeks were gardens full of flowers,
 So they were dew'd with such distilling showers.

Look! how a bird lies tangled in a net,
So fasten'd in her arms Adonis lies;
Pure shame and aw'd resistance made him fret,
Which bred more beauty in his angry eyes:
 Rain added to a river that is rank
 Perforce will force it overflow the bank.

Still she entreats, and prettily entreats,
For to a pretty ear she tunes her tale;
Still is he sullen, still he lowers and frets,
'Twixt crimson shame and anger ashy-pale;
 Being red, she loves him best; and being white,
 Her best is better'd with a more delight.

Притиснутый, он терпит не любя.
Вспотел, и выдыхает ей в лицо.
Она ж впивает этот дух в себя,
Брызг слюнь, соль пота мнится ей росой.
«Ах, пусть бы щеки заросли цветами,
Таковыми орошаемы струями!..»

Ну прям как пташка в путах сетевых,
Расхристан отрок в бешеных руках.
Отпор, позор и стыд в глазах сухих,
И лаком гнев ей в яростных очах!
Так вешний ливень, реку оросив,
Из берегов крутых родит разлив.

Мольба из нежных уст ее, мольба!
Приникнуть ушком к звону волшебства,
Но он угрюм и зол. «При чем слова?»
Как стыд, багров, и бледен, как судьба,
Как ей румянец нравится лихой,
Да и когда он бледненький такой!



Look how he can, she cannot choose but love;
And by her fair immortal hand she swears,
From his soft bosom never to remove,
Till he take truce with her contending tears,
 Which long have rain'd, making her cheeks all wet;
 And one sweet kiss shall pay this countless debt.

Upon this promise did he raise his chin
Like a dive-dapper peering through a wave,
Who, being look'd on, ducks as quickly in;
So offers he to give what she did crave;
 But when her lips were ready for his pay,
 He winks, and turns his lips another way.

Never did passenger in summer's heat
More thirst for drink than she for this good turn.
Her help she sees, but help she cannot get;
She bathes in water, yet her fire must burn:
 'O! pity,' 'gan she cry, 'flint-hearted boy:
16 'Tis but a kiss I beg; why art thou coy?



Есть выбор у него, не у нее,
Бессмертная ручается, стена,
Не слезть с него, покуда... В том дает
Любую клятву, все припоминая,
 Что погасить пыланье слезных струй,
 Что выпутаться даст лишь поцелуй.

На обещанье клюнув подбородком,
Как на крючок, как из волны в лучи,
Как рыба, как нырок, напуган, кроток,
Явил он рот, мол, плату получи,
 Но лишь коснулся женский рот залога,
 Отдернул вбок закуску недотрога.

Росинки в засуху не жаждет путник,
Как женщина, чтоб он вернул ей рот,
И плюх бы в грязь! Ан чист, ан не распутник..
Горят глаза, дымятся... Зуб неймет.
 «Да что же ты за каменный юнец?
 Ну дай хоть поцелуйчик, наконец!

'I have been woo'd, as I entreat thee now,
Even by the stern and direful god of war,
Whose sinewy neck in battle ne'er did bow,
Who conquers where he comes in every jar;
 Yet hath he been my captive and my slave,
 And begg'd for that which thou unask'd shalt have.

'Over my altars hath he hung his lance,
His batter'd shield, his uncontrolled crest,
And for my sake hath learn'd to sport and dance,
To toy, to wanton, dally, smile, and jest;
 Scorning his churlish drum and ensign red,
 Making my arms his field, his tent my bed.

'Thus he that overrul'd I oversway'd,
Leading him prisoner in a red-rose chain:
Strong-temper'd steel his stronger strength obey'd,
Yet was he servile to my coy disdain.

18 O! be not proud, nor brag not of thy might,
 For mastering her that foil'd the god of fight.

'Touch but my lips with those fair lips of thine,—
Though mine be not so fair, yet are they red,—
The kiss shall be thine own as well as mine:
What seest thou in the ground? hold up thy head:
 Look in mine eyeballs, there thy beauty lies;
 Then why not lips on lips, since eyes in eyes?

Прошу о том, зачем ко мне вживую
Буйнолюбивый бегал Битвобог,
Не гнувший сроду жилистую выю;
Тьмы вражки попирал его сапог,
Но стал моим рабом, мне подчинялся,
Возьми ж то, для чего он унижался!

Он положил свой дрот на мой алтарь,
Ужасный щит и оперенный шлем,
И в честь мою пажом явился царь,
Все антраша сплясал, был мягок, что твой крем,
Альков мой выбрал полевым шатром,
За крови гром в висках отдал и кровь, и гром.

Я посадила гордого царя
На цепь из миллиарда алых роз,
Сталь сжав рукой, плевком огонь смиря,
Рекла: „Нет, не люблю я Вас, герой-с“,
Так не кичился б властью ты, салага,
Над сердцем, презиравшем аж варяга¹.

19

Ну же, тронь губы мне, рот неземной,
Куда не кинь, мой тоже рот хорош,
Ведь общий поцелуй-то, мой, но твой.
Что в землю ткнулся, что в земле найдешь?
В мои глаза взгляни-ка, милый фэтиш,
Что ж губ не слить, уж раз в глазах так светишь?

¹ *Вариант:* Так не кичился б властью ты, ей-богу,
Над сердцем, презиравшем аж Сварога!

'Art thou asham'd to kiss? then wink again,
And I will wink; so shall the day seem night;
Love keeps his revels where there are but twain;
Be bold to play, our sport is not in sight:
 These blue-vein'd violets whereon we lean
 Never can blab, nor know not what we mean.

'The tender spring upon thy tempting lip
Shows thee unripe, yet mayst thou well be tasted.
Make use of time, let not advantage slip;
Beauty within itself should not be wasted:
 Fair flowers that are not gather'd in their prime
 Rot and consume themselves in little time.

'Were I hard-favour'd, foul, or wrinkled-old,
Ill-nurtur'd, crooked, churlish, harsh in voice,
O'erworn, despised, rheumatic, and cold,
Thick-sighted, barren, lean, and lacking juice,
 Then mightst thou pause, for then I were not for thee;
20 But having no defects, why dost abhor me?

Стесняешься? Зажмурься, дорогой,
И я зажмурюсь. Хочешь в ночь сыграть?
Друг, в теле жить нельзя душе одной,
Побалуйся, никто не будет знать,
 Фиалки не расскажут лепестками,
 Что нашими раздавлены боками!

Пусть нет усов покуда над губой,
Один апрель! А все же, дай на пробу,
Давай их пустим в ход, и Зевс с тобой,
Сидеть в себе, как жить под крышкой гроба,
 Когда цветка волшебного не снять
 Скорей с куста, он может ведь увясть!

Будь в чирьях я, или кругом в морщинах,
Горбатой, дряхлой, лысой и больной,
Корявой и фригидной дурачиной,
Визжала б вся в соплях, так фиг со мной!
 Сказал бы ты: „Мне эта дрянь не пара!“
 Но выгляжу я ладно и не старо!



'Thou canst not see one wrinkle in my brow;
Mine eyes are grey and bright, and quick in turning;
My beauty as the spring doth yearly grow;
My flesh is soft and plump, my marrow burning;
 My smooth moist hand, were it with thy hand felt,
 Would in thy palm dissolve, or seem to melt.

'Bid me discourse, I will enchant thine ear,
Or like a fairy trip upon the green,
Or, like a nymph, with long dishevell'd hair,
Dance on the sands, and yet no footing seen:
 Love is a spirit all compact of fire,
 Not gross to sink, but light, and will aspire.

'Witness this primrose bank whereon I lie;
These forceless flowers like sturdy trees support me;
Two strengthless doves will draw me through the sky,
From morn till night, even where I list to sport me:
 Is love so light, sweet boy, and may it be
22 That thou shouldst think it heavy unto thee?

'Is thine own heart to thine own face affected?
Can thy right hand seize love upon thy left?
Then woo thyself, be of thyself rejected,
Steal thine own freedom, and complain on theft.
 Narcissus so himself himself forsook,
 And died to kiss his shadow in the brook.

Что ж дуться? Лоб покуда без морщин,
Сер яркий глаз и весело стреляет,
И возраст бесконечных именин,
Мне сносу нет, плоть с каждым днем свежает,
 Возьми хоть руку, и в твоей, влажна,
 Утопнет и расплавится она!

Вели, я слух твой пеньем очарую,
Иль быстры ножки в воздух оторву,
И в злате влас, не всколыхнув траву,
Промчусь, следа в песках не прорисую!
 Любовь есть дух, из пламени отлитый,
 Следов не оставляют афродиты!

В шиповником заросший склон речной
Вдруг прыгну и на лепестках прилягу,
Два вяхиря возносят образ мой —
Так лёгко то, что на тебя, беднягу,
 Так давит; пляска игр моих быстра,
 Как миг границы ночи и утра!

Что ж любишь ты? Не самое себя ли?
Что ж, друг, любите самого себя.
Всю жизнь десницу шуйцей теребя!
В безумии, свободе и печали.
 Знай, к отраженью губы все тянул
 Нарцисс, да чмокнул пруд, и потонул...

'Torches are made to light, jewels to wear,
Dainties to taste, fresh beauty for the use,
Herbs for their smell, and sappy plants to bear;
Things growing to themselves are growth's abuse:
Seeds spring from seeds, and beauty breedeth beauty;
Thou wast begot; to get it is thy duty.

'Upon the earth's increase why shouldst thou feed,
Unless the earth with thy increase be fed?
By law of nature thou art bound to breed,
That thine may live when thou thyself art dead;
And so in spite of death thou dost survive,
In that thy likeness still is left alive.'

By this the love-sick queen began to sweat,
For where they lay the shadow had forsook them,
And Titan, tired in the mid-day heat,
With burning eye did hotly overlook them;
Wishing Adonis had his team to guide,
So he were like him and by Venus' side.



Наденься, бриллиант, сверкай, свеча,
Лекарство — пейся! И ласкай, краса!
И дух в ноздрю, и шубу на плеча,
А сам с усам быть вещь в себе нельзя!
Краса родит красу, трава — траву,
Рожденный должен мне! И я зову!

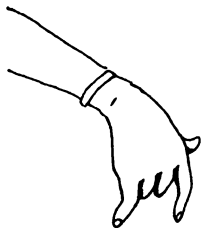
Не можешь ты, земных вкушая благ,
Не дать себя другим на кус и цвет,
Пришел нагим, и мир покинешь наг!
Прикройся, и оставь живым свой след!
И несмотря на смерть, ты длишься в тех,
Кого оставил жить твой легкий грех!»

С отвергнутой богини льется пот...
Лесная тень на солнце растворилась,
Титан в полдневный жар, устав, как черт,
Глядь вниз, и в зраке похоть воцарилась:
«Вот бы вернуть Адонису свободу,
Да подменить красавца мне, уроду!»

And now Adonis with a lazy spright,
And with a heavy, dark, disliking eye,
His louring brows o'erwhelming his fair sight,
Like misty vapours when they blot the sky,
 Souring his cheeks, cries, 'Fie! no more of love:
 The sun doth burn my face; I must remove.'

'Ay me,' quoth Venus, 'young, and so unkind?
What bare excuses mak'st thou to be gone;
I'll sigh celestial breath, whose gentle wind
Shall cool the heat of this descending sun:
 I'll make a shadow for thee of my hairs;
 If they burn too, I'll quench them with my tears.'

'The sun that shines from heaven shines but warm,
And lo! I lie between that sun and thee:
The heat I have from thence doth little harm,
Thine eye darts forth the fire that burneth me;
 And were I not immortal, life were done
 Between this heavenly and earthly sun.'



Адонис, с заторможенной душою
Валяется. Неприязнь тяжела,
Глаз зло, звенящих под бровей дугою,
Как (свет) небес вдруг туча пресекла:
«Пошли, — кричит, — тьфу! О любви хорош!
Я щеки сжег на солнце! Стоп, не трожь!»

«Так юн, а уж настолько хамоват! —
Ответом было. — Нет тебе пощады!
Сейчас вздохну, так свежий аромат
Рта охладит тебе ланиты, чадо,
Примолкни в золотых кудрей тени.
Как вспыхнут кудри, слез поток — сверкни.

Сияют, но не жгутся небеса,
Глянь, я теперь меж солнцем и тобой,
Меж двух огней, но солнце — лишь оса,
Огнем змеиным зрак сочится твой,
Ох, кабы я бессмертной не была,
Меж жарких твердей вспыхнуть — и дотла!

'Art thou obdurate, flinty, hard as steel?
Nay, more than flint, for stone at rain relenteth.
Art thou a woman's son, and canst not feel
What 'tis to love? how want of love tormenteth?
O! had thy mother borne so hard a mind,
She had not brought forth thee, but died unkind.

'What am I that thou shouldst contemn me this?
Or what great danger dwells upon my suit?
What were thy lips the worse for one poor kiss?
Speak, fair; but speak fair words, or else be mute:
Give me one kiss, I 'll give it thee again,
And one for interest, if thou wilt have twain.

'Fie! lifeless picture, cold and senseless stone,
Well-painted idol, image dull and dead,
Statue contenting but the eye alone,
Thing like a man, but of no woman bred:
Thou art no man, though of a man's complexion,
For men will kiss even by their own direction.'

28

This said, impatience chokes her pleading tongue,
And swelling passion doth provoke a pause;
Red cheeks and fiery eyes blaze forth her wrong;
Being judge in love, she cannot right her cause:
And now she weeps, and now she fain would speak,
And now her sobs do her intendments break.

Ты, парень, что? Кремень иль железняк?
Не камень ты, ведь капля камень точит.
Вообще, сын женщины ты, или как?
Как? Женский сын — и женщины не хочет!

А если ты похож на мать твою,
Кому с ней удалось создать семью?!

Да за кого же ты меня считаешь,
Что весь дрожишь, как под ножом баран?
Несчастный поцелуишко скрываешь
В губенках! Ну, хоть слово! Цыц, пацан!
Молчи и дай, а я верну обратно,
Чмок мне и два тебе, и нам приятно!

ТЬфу, кукла пучеглазая, утес!
Дурацкий идол, черствый истукан!
Бульжник, поцелованный взасос,
Мужик, какой ты матерью был сран?!
Нет, не мужик, от мужика ты фантик!

Мужик целует сам; ты, мальчик — сбоку бантик!» 29

И вдруг ее язык молчанием окован,
И пауза гудящая в губах,
Ей душно, дурно, страстный жар в ней, словом,
Себя не чует, сок горит в грудях,
И слезы горькие у ней безмолвны
Льют, как ручей. В мозгу же — звуки домбры.

Sometimes she shakes her head, and then his hand;
Now gazeth she on him, now on the ground;
Sometimes her arms infold him like a band:
She would, he will not in her arms be bound;
 And when from thence he struggles to be gone,
 She locks her lily fingers one in one.

‘Fondling,’ she saith, ‘since I have hemm’d thee here
Within the circuit of this ivory pale,
I ’ll be a park, and thou shalt be my deer;
Feed where thou wilt, on mountain or in dale:
 Graze on my lips, and if those hills be dry,
 Stray lower, where the pleasant fountains lie.

‘Within this limit is relief enough,
Sweet bottom-grass and high delightful plain,
Round rising hillocks, brakes obscure and rough,
To shelter thee from tempest and from rain:

 Then be my deer, since I am such a park;
30 No dog shall rouse thee, though a thousand bark.’

Тряхнет кудрями, схватит малыцу руку,
То в землю вперится, то в милое лицо,
Обнимет и прильнет, или даст волю другу,
Чтоб приласкал. То борется с юнцом,
Когда он рвется, рык издав дурной,
Персты замком слагает за его спиной.

И говорит: «Раз я тебя поймала,
В свой розовый, в свой бледный плен грудной,
Войди в мой сад олешком годовалым,
Пей с губ, пасись в кудрях, лижи, родной,
Соленые холмы грудей сухие,
А то спускайся в дол, где гейзеры золотые!

Я — сад земной, во мне всего найдешь:
Мошок зеленый, хрусткий белый ягель,
Холмов и чащ моих прекрасна дрожь!
Олень, твой след здесь не сыскать собаке,
Войди в мой бурелом, как в родный дом,
И даже майской бури смолкнет гром!»



At this Adonis smiles as in disdain,
That in each cheek appears a pretty dimple:
Love made those hollows, if himself were slain,
He might be buried in a tomb so simple;
 Foreknowing well, if there he came to lie,
 Why, there Love liv'd and there he could not die.

These lovely caves, these round enchanting pits,
Open'd their mouths to swallow Venus' liking.
Being mad before, how doth she now for wits?
Struck dead at first, what needs a second striking?
 Poor queen of love, in thine own law forlorn,
 To love a cheek that smiles at thee in scorn!

Now which way shall she turn? what shall she say?
Her words are done, her woes the more increasing;
The time is spent, her object will away,
And from her twining arms doth urge releasing:
 'Pity,' she cries; 'some favour, some remorse!'
32 Away he springs, and hasteth to his horse.

But, lo! from forth a copse that neighbours by,
A breeding jennet, lusty, young, and proud,
Adonis' tramping courser doth espy,
And forth she rushes, snorts and neighs aloud:
 The strong-neck'd steed, being tied unto a tree,
 Breaketh his rein, and to her straight goes he.

Презрительно Адонис ослаблялся,
Венере ямочки на щечках показал.
Ах, что за ямочек владельцем он являлся,
Сама любовь их повертела, егоза!

Отлично зная, хоть умри хозяин,
А жить вовек любви воспоминаньям!

Ах ямочки, ах раковины зла!
Душа богини рухнула в их гробы,
Что зло любви, когда уж любишь ты козла?
Сведет с ума, но ты уже с ума сошла...
Что ямочки? Вся грудь полна сердечной злобы,
Своим оружием Венера сражена,
Свихнула, в ямочки попав, мозги она.

Что скажешь на холодную ухмылку?
Нет слов, рыдания сотрясают бюст,
Дал деру он. Вслед быстрому затылку
Она кричит о состоянье чувств:

«Побудь, не уходи, лобзай меня!..»

Но видит он лишь своего коня...

Но вдруг кобыла, из соседственных кустов
Выскакивая, крутит гордым крупом
И нежно ржет. И все. И конь готов.
Валежник разметав в усердьи глупом,
Он рвется с привязи, и сук хрустит.
Звук лопнувшей узды и стук копыт.

Imperiously he leaps, he neighs, he bounds,
And now his woven girths he breaks asunder;
The bearing earth with his hard hoof he wounds,
Whose hollow womb resounds like heaven's thunder;
The iron bit he crushes 'tween his teeth,
Controlling what he was controlled with.

His ears up-prick'd; his braided hanging mane
Upon his compass'd crest now stand on end;
His nostrils drink the air, and forth again,
As from a furnace, vapours doth he send:
His eye, which scornfully glisters like fire,
Shows his hot courage and his high desire.

Sometime he trots, as if he told the steps,
With gentle majesty and modest pride;
Anon he rears upright, curvets and leaps,
As who should say, 'Lo! thus my strength is tried;
And this I do to captivate the eye
Of the fair breeder that is standing by.'

О корни древ, о мшистые каменья
Подковы бьют; храп, звон, подпруги треск;
Терзает землю гвоздь без сожаленья;
И почва стонет, оглушая лес;
Мундштук железный хрустнул на зубах —
Кто был рабом, вдруг скачет, как монарх!

Ушами прядая, он мечет огонь
Златистой гривы на спину крутую,
И пышут двое замшевых берлог,
Как мехи, на поверхность огневую.
Взор жарок, как клинок на наковальне,
И молот сердца бьется в такт желанья.

Он конь-танцор, он что, учен балету?
Как мягко величав, как гордо скромн,
Копытом бьет копыто, хвост, как лента,
Вот-вот и скажет: «Правда, сильный номер?
Он предназначен маленькой кобылке,
Я к ней имею чувств букетик пылкий».



What reckoneth he his rider's angry stir,
His flattering 'Holla,' or his 'Stand, I say?'
What cares he now for curb or pricking spur?
For rich caparisons or trapping gay?
 He sees his love, and nothing else he sees,
 Nor nothing else with his proud sight agrees.

Look, when a painter would surpass the life,
In limning out a well-proportion'd steed,
His art with nature's workmanship at strife,
As if the dead the living should exceed;
 So did this horse excel a common one,
 In shape, in courage, colour, pace and bone.

Round-hoof'd, short-jointed, fetlocks shag and long,
Broad breast, full eye, small head, and nostril wide,
High crest, short ears, straight legs and passing strong,
Thin mane, thick tail, broad buttock, tender hide:

36 Look, what a horse should have he did not lack,
 Save a proud rider on so proud a back.

Sometimes he scuds far off, and there he stares;
Anon he starts at stirring of a feather;
To bid the wind a base he now prepares,
And whe'r he run or fly they know not whether;
 For through his mane and tail the high wind sings,
 Fanning the hairs, who wave like feather'd wings.

И что коню хозяйские приказы:
«Эй, ты, назад, кому я говорю!»,
Что шпор удар, что плетка за проказы?..
Злата попона, гроздь янтарю
На чепраке — конь слеп от обожанья.
Вкруг образа любви слепое век дрожанье,

А сам хорош; смотри-ка, живописец
Надумал в холст природу заключить
И дать ей красоту, пропорций видимость,
Но гладко мертвое, а жизнь (ах-ах) торчить!
И только конь, хоть жив, но соразмерен:
Стать, форма, штрих и цвет, и абрис верен.

Круглокопытый, бабки — точно бабочки,
В груди широк, глазаст, с ноздрей дыхучею,
Не вислозад, короткоух, все как по справочке,
И с иноходью мягкой и могучею.
Такая лошадь гожа для того,
Чтобы носить героя моего.

37

Увы и ах... Вдруг конь, бывало, прынет,
Услыша звук крутящегося пуха
И прядает на легкий ветер ухо
И вдруг, как будто взмахом крыльев канет
Летуч как воздух, гриву, хвост пуша,
Как будто скачет с крыльями душа.

He looks upon his love, and neighs unto her;
She answers him as if she knew his mind;
Being proud, as females are, to see him woo her,
She puts on outward strangeness, seems unkind,
 Spurns at his love and scorns the heat he feels,
 Beating his kind embracements with her heels.

Then, like a melancholy malcontent,
He vails his tail that, like a falling plume
Cool shadow to his melting buttock lent:
He stamps, and bites the poor flies in his fume.
 His love, perceiving how he is enrag'd,
 Grew kinder, and his fury was assuag'd.

His testy master goeth about to take him;
When lo! the unback'd breeder, full of fear,
Jealous of catching, swiftly doth forsake him,
With her the horse, and left Adonis there.

38 As they were mad, unto the wood they hie them
 Out-stripping crows that strive to over-fly them.

К зазнобушке соседясь, смотрит жарко.
Умильно ждет ответа ухажер,
Ей виден он насквозь. Как страстно ржет его товарка,
Все девки любят вздохи на позор.
Пусть сердце жеребьячье ей открыто,
Лягает, как каблук, так вот копыто.

И конь меланхоличным чудачком,
Хвостом мотая кисло, как плюмажем,
Свой плавающий круп спасает ветерком,
В тень отступив, и липких мух давя же.
Узрев сие, становится кокетка
Приветливей. И что ж? Растаял, детка..

Хозяин строгий хочет влезть в седло.
Ну ты смотри, мерзавка угадала,
От ревности как дернет прочь (назло) —
И вновь седло от конника сбежало.
Как психи, мчатся по лесу стремглав,
Ворон орущих крепко напугав.



All swoln with chafing, down Adonis sits,
Banning his boisterous and unruly beast:
And now the happy season once more fits,
That love-sick Love by pleading may be blest;
 For lovers say, the heart hath treble wrong
 When it is barr'd the aidance of the tongue.

An oven that is stopp'd, or river stay'd,
Burneth more hotly, swelleth with more rage:
So of concealed sorrow may be said;
Free vent of words love's fire doth assuage;
 But when the heart's attorney once is mute,
 The client breaks, as desperate in his suit.

He sees her coming, and begins to glow,—
Even as a dying coal revives with wind,—
And with his bonnet hides his angry brow;
Looks on the dull earth with disturbed mind,
 Taking no notice that she is so nigh,
40 For all askance he holds her in his eye.

O! what a sight it was, wistly to view
How she came stealing to the wayward boy;
To note the fighting conflict of her hue,
How white and red each other did destroy:
 But now her cheek was pale, and by and by
 It flash'd forth fire, as lightning from the sky.

Адонис опустил на песок.
И жеребца ругает на чем свет.
И вновь горит надежды уголек
В груди Венеры, почему бы нет.
Влюбленный верит, что болтливый рот
Грудь от разрыва сердца упасет.

Когда закрыта печь, когда запружен ток,
То яростней вода и жарче пыл огня.
Так и напор страстей, груб да жесток,
Развеять помогает болтовня.
Язык — хороший сердцу адвокат,
А кто молчал — у всех стал виноват.

Венеру видя, он расшвирипел,
Как будто на угли она подула,
Надвинув глубже шляпу, засопел.
И смотрит в землю, черную, как дуло,
Рецептов вовсе там не находя.
Следя за ней и душу бередя.

41

Занятен вид богини молодой,
Ползущей по-пластунски к сорванцу.
Занятен лиц румянец наливной,
Вид краски, прыгающей по лицу,
Белый налив ланит, и вдруг — не тронь! —
Бьет молнией антоновский огонь.

Now was she just before him as he sat,
And like a lowly lover down she kneels;
With one fair hand she heaveth up his hat,
Her other tender hand his fair cheek feels:
 His tenderer cheek receives her soft hand's print
 As apt as new-fall'n snow takes any dint.

O! what a war of looks was then between them;
Her eyes petitioners to his eyes suing;
His eyes saw her eyes as they had not seen them;
Her eyes woo'd still, his eyes disdain'd the wooing:
 And all this dumb play had his acts made plain
 With tears, which, chorus-like, her eyes did rain.

Full gently now she takes him by the hand,
A lily prison'd in a gaol of snow,
Or ivory in an alabaster band;
So white a friend engirts so white a foe:
 This beauteous combat, wilful and unwilling,
 Show'd like two silver doves that sit a-billing.



Ну вот. Подкралась исподволь к пеньку,
Волшебною змеею у колен,
И поправляет шляпу пареньку.
Другой рукой коснувшись шейных вен,
И выше, где пощечина (Бог мой),
Алело прошлое, как след в снегу зимой.

И сшиблись взоры их, как два клинка:
Ее — молящие, его — гнетущие
Глаза, и разминулись два лица.
Ах, к пущей жалобе презренье пущее!
Так выглядел спектакль, и в пантомиме
Порхали слезы птицами седыми.

Руки не отнимает он у ней,
Как лилия торчит (тире) среди снега.
Кисть мрамора ты в алебастр клей,
Враждебен белый белизне набега,
Война красот, насилия клубок,
И горлинку клюющий голубок.

Once more the engine of her thoughts began:
‘O fairest mover on this mortal round,
Would thou wert as I am, and I a man,
My heart all whole as thine, thy heart my wound;
For one sweet look thy help I would assure thee,
Though nothing but my body’s bane would cure thee.

‘Give me my hand,’ saith he, ‘why dost thou feel it?’
‘Give me my heart,’ saith she, ‘and thou shalt have it;
O! give it me, lest thy hard heart do steel it,
And being steel’d, soft sighs can never grave it:
Then love’s deep groans I never shall regard,
Because Adonis’ heart hath made mine hard.’

‘For shame,’ he cries, ‘let go, and let me go;
My day’s delight is past, my horse is gone,
And ’tis your fault I am bereft him so:
I pray you hence, and leave me here alone:
For all my mind, my thought, my busy care,
44 Is how to get my palfrey from the mare.’

Thus she replies: ‘Thy palfrey, as he should,
Welcomes the warm approach of sweet desire:
Affection is a coal that must be cool’d;
Else, suffer’d, it will set the heart on fire:
The sea hath bounds, but deep desire hath none;
Therefore no marvel though thy horse be gone.

Души почтовый голубь — дамский язычок —
Проворковал: «Кумир мой в смертном мире,
Будь ты девица, будь я мужичок,
Тобой спроста поранен, будь я в тире
 Любовном — то уж я б нашел бальзам,
 Хотя бы заплатил собою сам».

«Отдай мне, дура, руку, что пристала?»
«Нет, — говорит, — сначала дай мне руку
И сердце, чтоб чугунным не казалось,
Слепое скучно не брело по кругу,
 Не то и я сама очугунюю,
 Наполнившись чугунией твоею».

«Позорница! — орет он. — Убирайся!
Весь день коню под хвост, что в лес удрал,
Все — фокусы твои! Сжег щеки, красный,
Без лошади! Нет, мать, тебе пора!
 Не до тебя мне, если хочешь знать.
 Коняку б от кобылы оторвать».

45

На что она: «Ах, значит, жеребца!
И между тем, влюбленного душевно,
А трудно, даже если ты в сердцах,
Холодным сделать пламя страсти гневно,
 Безбрежной моря жар сердец-углей,
 Так без толку — орать на лошадей.

'How like a jade he stood, tied to the tree,
Servilely master'd with a leathern rein!
But when he saw his love, his youth's fair fee,
He held such petty bondage in disdain;
 Throwing the base thong from his bending crest,
 Enfranchising his mouth, his back, his breast.

'Who sees his true-love in her naked bed,
Teaching the sheets a whiter hue than white,
But, when his glutton eye so full hath fed,
His other agents aim at like delight?
 Who is so faint, that dare not be so bold
 To touch the fire, the weather being cold?

'Let me excuse thy courser, gentle boy;
And learn of him, I heartily beseech thee,
To take advantage on presented joy;
Though I were dumb, yet his proceedings teach thee.
 O learn to love; the lesson is but plain,
 And once made perfect, never lost again.'



Покорственный смотрелся конь на „ять“ ,
Его держала легкая узда,
Но стоило кобылу увидеть,
Все лопнуло, теперь одна звезда.
Подпруги разлетелись, и мундштук,
Зубами сломанный, издал печальный звук.

А кто бы, видя голую подружку
На белозимнеснежной простыне,
Изящно капнувшую слюной на подушку,
Хоть после ужина, не вспыхнет, весь в огне.
Когда мороз хоть зубьями стучи,
Кто ленится разжечь огонь в печи?

Дружочек, извиним-ка мы с тобой
Коня. Тебе бы след с них брать пример,
Раз мне не удалось привить тебе любовь,
Тебя обучит ржущий кавалер.
Смотри, урок любви, ее наука —
Простая и приятственная штука».

'I know not love,' quoth he, 'nor will not know it,
Unless it be a boar, and then I chase it;
'Tis much to borrow, and I will not owe it;
My love to love is love but to disgrace it;
 For I have heard it is a life in death,
 That laughs and weeps, and all but with a breath.

'Who wears a garment shapeless and unfinish'd?
Who plucks the bud before one leaf put forth?
If springing things be any jot diminish'd,
They wither in their prime, prove nothing worth:
 The colt that 's back'd and burden'd being young
 Loseth his pride and never waxeth strong.

'You hurt my hand with wringing; let us part,
And leave this idle theme, this bootless chat:
Remove your siege from my unyielding heart;
To love's alarms it will not ope the gate:
 Dismiss your vows, your feigned tears, your flattery;
48 For where a heart is hard, they make no battery.'

'What! canst thou talk?' quoth she, 'hast thou a tongue?
O! would thou hadst not, or I had no hearing;
Thy mermaid's voice hath done me double wrong;
I had my load before, now press'd with bearing:
 Melodious discord, heavenly tune, harsh-sounding,
 Ear's deep-sweet music, and heart's deep-sore wounding.

«Знать не хочу отнюдь всю эту дрянь,
Куда скакать, ведь девка не кабанчик,
Скучища это все, и ты — отстань.
Любовь, любовью, люб, люби, о мальчик,
Жизнь после смерти в детях, слезы, смех...
Да лучше в гроб, чем сей воздушный грех!

Кто ходит в брюках, где мотня не вшита?
Кто ломит ветку вербы до весны?
Кто топчет чуть проклюнувшее жито —
Тому не светят хлебушки вкусны!
Впряги-ка в плуг малого жеребенка,
И вырастет не лошадь, а клячка!

Хорош крутить мне пальцы, изломаешь,
Прости, прощай, пустая болтовня,
Напрасно мой корабль ты абордажишь,
Что греческого пламя мне огня?
Утри же сопли, вопли, лесть и враки,
Орех не по зубам твоей атаке!»

49

«Что слышу я? Немой заговорил!
Но лучше бы ты, милый мой, молчал!
Мальчишка, что в душе ты натворил,
Твой сладкий голос дегтем в сердце стал,
Где мало сладкого и так-то было!
Мой слух твоя кантата отравила!

'Had I no eyes, but ears, my ears would love
That inward beauty and invisible;
Or were I deaf, thy outward parts would move
Each part in me that were but sensible:
 Though neither eyes nor ears, to hear nor see,
 Yet should I be in love by touching thee.

'Say, that the sense of feeling were bereft me,
And that I could not see, nor hear, nor touch,
And nothing but the very smell were left me,
Yet would my love to thee be still as much;
 For from the still'tory of thy face excelling
 Comes breath perfum'd that breedeth love by smelling.

'But O! what banquet wert thou to the taste,
Being nurse and feeder of the other four;
Would they not wish the feast might ever last,
And bid Suspicion double-lock the door,
 Lest Jealousy, that sour unwelcome guest,
50 Should, by his stealing in, disturb the feast?'

Знай — и ослепши, полюблю на слух
Движений скрипку, флейту нежных вздохов,
Оглохну я — вся плоть, как чуткий дух,
Восчувствует касанье сладких токов!

И что мне в том, что глаз, ушей лишусь?
Я лишь касаньем в жизни удержусь!

А если чувства все меня покинут
И не смогу я кожу осязать,
Что в том?! Покуда ноздри не остынут,
Страсть не уступит смерти ни на пядь!
Уловят ноздри щек благоуханье,
И напитает страсть твое дыханье!

И вкус! Ты б только знал, какой ты пир!
На что четыре чувства остальные?
Вкус небывалый, как фруктовый жир,
Любовь имеет. Двери на замок входные,
Прочь ревность, желчь — пронирыливых гостей,
Вовеки полон будь, о стол страстей!»



Once more the ruby-colour'd portal open'd,
Which to his speech did honey passage yield;
Like a red morn, that ever yet betoken'd
Wrack to the seaman, tempest to the field,
 Sorrow to shepherds, woe unto the birds,
 Gusts and foul flaws to herdmen and to herds.

This ill presage advisedly she marketh:
Even as the wind is hush'd before it raineth,
Or as the wolf doth grin before he barketh,
Or as the berry breaks before it staineth,
 Or like the deadly bullet of a gun,
 His meaning struck her ere his words begun.

And at his look she flatly falleth down,
For looks kill love and love by looks reviveth;
A smile recures the wounding of a frown;
But blessed bankrupt, that by love so thriveth!
 The silly boy, believing she is dead,
52 Claps her pale cheek, till clapping makes it red;

And all-amaz'd brake off his late intent,
For sharply he did think to reprehend her,
Which cunning love did wittily prevent:
Fair fall the wit that can so well defend her!
 For on the grass she lies as she were slain,
 Till his breath breatheth life in her again.

Открыл рот отрок — рот алей рубина,
Дабы из уст реке медовой течь,
Реке из пчел кусачих, пилигриму
Рот красный Эос предвещает смерть.

Заря такая топит шхуны, бриги,
Лес валит на овец, рвет счастье птиц, как варвар —
листья книги.

И в рот ему смотря, она трепещет,
Ей пауза душна перед грозой,
Волк в феврале так скалит пасть злоеще
На жертву. Как под поднятой ногой
Черничина, как грудь за шаг до пули,
Она мертва — лишь зубы проблеснули.

И ахнула, и завалилась в дрок.
Под взглядом — блещущим любвеубийцей,
Ударившим из-под бровей ядром,
В грудь. «Ах!» (Но чтоб поближе так свалиться,
Уметила.) Он верит, дурачок.
Ей щеки трет, и где та бледность щек?

53

Дурак забыл все верные слова,
Которыми хотел отбросить приставалу.
Лисица чертова, ну ты и голова!
Хоть смерть изобразишь, чтоб только не попало.
В траве застывши, как паралитичка,
Ждет запаха из милых губ лисичка.

He wrings her nose, he strikes her on the cheeks,
He bends her fingers, holds her pulses hard,
He chafes her lips; a thousand ways he seeks
To mend the hurt that his unkindness marr'd:

He kisses her; and she, by her good will,
Will never rise, so he will kiss her still.

The night of sorrow now is turn'd to day:
Her two blue windows faintly she up-heaveth,
Like the fair sun, when in his fresh array
He cheers the morn and all the world relieveth:

And as the bright sun glorifies the sky,
So is her face illumin'd with her eye;

Whose beams upon his hairless face are fix'd,
As if from thence they borrow'd all their shine.
Were never four such lamps together mix'd,
Had not his clouded with his brows' repine;

But hers, which through the crystal tears gave light,
Shone like the moon in water seen by night.



Он нос ей трет, он лупит по щекам,
И, пальцы выкрутив, считает пульс запястья,
Он дует в губы ей. «Какой я хам, —
Он думает, — угробил, вот несчастье!»
Раскаившись, балбес ее целует.
(Конечно же, она мертва и не кайфует.)

И вот — о, счастье! — туча пронеслась!
Две форточки очей проветривают душу,
Он, словно солнце, налил светом грязь,
Влив жизнь, как океан, в бесформенную лужу.
В ночную серость — океан небес.
Отверзлась твердь очес в сапфирах сладких слез.

Зрачки сквозь слезы взгляд его нашли,
Как будто пили из него свое сиянье,
С луною солнце вместе ввысь взошли,
И вот уж взор его укрыт за облаками,
Ее же взгляд в пруду слез, днем нагретом,
Горит, как месяц, отраженным светом.

'O! where am I?' quoth she, 'in earth or heaven,
Or in the ocean drench'd, or in the fire?
What hour is this? or morn or weary even?
Do I delight to die, or life desire?

But now I liv'd, and life was death's annoy;
But now I died, and death was lively joy.

'O! thou didst kill me; kill me once again:
Thy eyes' shrewd tutor, that hard heart of thine,
Hath taught them scornful tricks and such disdain
That they have murder'd this poor heart of mine;
And these mine eyes, true leaders to their queen,
But for thy piteous lips no more had seen.

'Long may they kiss each other for this cure!
O! never let their crimson liveries wear;
And as they last, their verdure still endure,
To drive infection from the dangerous year:
That the star-gazers, having writ on death,
56 May say, the plague is banish'd by thy breath.

'Pure lips, sweet seals in my soft lips imprinted,
What bargains may I make, still to be sealing?
To sell myself I can be well contented,
So thou wilt buy and pay and use good dealing;
Which purchase if thou make, for fear of slips
Set thy seal-manual on my wax-red lips.

«Ой, гдей-то я? — богиня вопрошала, —
Вокруг Олимп, земля, волна или огонь?
Который час? Конец или начало?
Я умерла иль родилась? И где твой конь?
О, помню вкус смертельный жизни жуткой,
И смерть казалась мне живейшей шуткой.

И ты убил меня! Убил! Убил!
Убей же вновь, о, изверг бессердечный!
Глаза сочтись ядом научил
И отравлять мне жизнь, твой нрав нечеловечный.
Когда бы губ ты не облобызал,
Увидели бы смерть пажи мои — глаза.

Целуй же во спасенье оба ока,
Чтоб синим их не выцвесть, как плащам,
Зрачкам, пока горят они глубоко,
Земную плоть не жрать чумным годам.
Астролог, что творит мирописанье,
Речет, что мир живит твое дыханье

57

Сургуч слюны печатью губ накрой,
О, сколько заплачу я за посланье!
Я заплачу, пожалуйста, душой,
Купи ее, она — очарованье;
За весточку готова я отдать
Себя. Вот уст сургуч, вдави печать!

'A thousand kisses buys my heart from me;
And pay them at thy leisure, one by one.
What is ten hundred touches unto thee?
Are they not quickly told and quickly gone?
 Say, for non-payment that the debt should double,
 Is twenty hundred kisses such a trouble?'

'Fair queen,' quoth he, 'if any love you owe me,
Measure my strangeness with my unripe years:
Before I know myself, seek not to know me;
No fisher but the ungrown fry forbears:
 The mellow plum doth fall, the green sticks fast,
 Or being early pluck'd is sour to taste.'

'Look! the world's comforter, with weary gait,
His day's hot task hath ended in the west;
The owl, night's herald, shrieks, 'tis very late;
The sheep are gone to fold, birds to their nest,
 And coal-black clouds that shadow heaven's light
58 Do summon us to part and bid good night.'

Ценю я сердце в тыщу целовней,
Слабо по одному их отсчитать?
Сто раз про десять, не найдешь смешней
Цены. Смешные деньги грех не дать,
А то на счетчик попадешь, просрочив,
Но что две тыщи, так, промежду прочим?»

«Послушай, фея, если вправду любишь,
Спиши на возраст все мои финты,
Себя не знающего пригубив – загубишь,
Дай стать щуренку щукой, слышишь, ты?
Ты ж сливу ешь-то зрелую, как мед,
А не зеленую, чтоб заболел живот?»

Смотри, закрыло солнышко калитку
На западе, трудом утомлено,
Заухала сова, читая тьмы открытку,
Стада в хлевах, и птицы в гнездах спят давно.
И угольные тучи неба свет
Застлали... Нам бы уж проститься след.



'Now let me say good night, and so say you;
If you will say so, you shall have a kiss.'
'Good night,' quoth she; and ere he says adieu,
The honey fee of parting tender'd is:
Her arms do lend his neck a sweet embrace;
Incorporate then they seem, face grows to face.

Till, breathless, he disjoin'd, and backward drew
The heavenly moisture, that sweet coral mouth,
Whose precious taste her thirsty lips well knew,
Whereon they surfeit, yet complain on drouth:
He with her plenty press'd, she faint with dearth,
Their lips together glu'd, fall to the earth.

Now quick desire hath caught the yielding prey,
And glutton-like she feeds, yet never filleth;
Her lips are conquerors, his lips obey,
Paying what ransom the insulter willeth;
Whose vulture thought doth pitch the price so high,
60 That she will draw his lips' rich treasure dry.

And having felt the sweetness of the spoil,
With blindfold fury she begins to forage;
Her face doth reek and smoke, her blood doth boil,
And careless lust stirs up a desperate courage;
Planting oblivion, beating reason back,
Forgetting shame's pure blush and honour's wrack.

Давай друг другу скажем „Добру ночь“,
И будет поцелуй тебе тогда».

«Да! Доброй ночи», – крикнула звезда
Венера. Только он ответить хочет,
Она вокруг шеи страстно обвилась,
И в губы приоткрытые впилась.

Теперь, покуда губ не отберет
Коралловых мой пленник от лобзанья,
Она слюны впивает сладкий мед,
И поцелуй нарушил расставаньё.
Он задохнулся, фея жаждет ласк,
И, слившись, падают в десятый раз.

Так страсть впивает жадно жертвы дрожь,
Так рысь жрет зайку, попостясь неделю,
Рот – рэкетир, деньгу сосущий нож,
Раздел до нитки за плохое поведенье,
Как Игорь-князь так обложил древлян,
Так на иссохшем рту страсть-сокол кровью пьян.

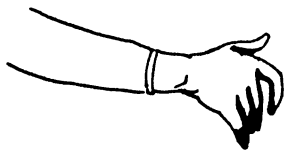
61

Разбой в ней будит злое сладострастье,
И крутится в неистовстве она,
Дымясь лицом, в парах хмельного безобразья,
В бесчестном глуме допьяна пьяна,
Мозги кидая в пламенную тьму,
И стыд, и душу растеряв в дыму.

Hot, faint, and weary, with her hard embracing,
Like a wild bird being tam'd with too much handling,
Or as the fleet-foot roe that 's tir'd with chasing,
Or like the froward infant still'd with dandling,
 He now obeys, and now no more resisteth,
 While she takes all she can, not all she listeth.

What wax so frozen but dissolves with tempering,
And yields at last to every light impression?
Things out of hope are compass'd oft with venturing,
Chiefly in love, whose leave exceeds commission:
 Affection faints not like a pale-fac'd coward,
 But then woos best when most his choice is froward.

When he did frown, O! had she then gave over,
Such nectar from his lips she had not suck'd.
Foul words and frowns must not repel a lover;
What though the rose have prickles, yet 'tis pluck'd:
 Were beauty under twenty locks kept fast,
62 Yet love breaks through and picks them all at last.



А он, раздавленный коварными тисками,
Как скворушка спроста ребячьими руками,
Иль загнанный олень пред песьим рыком,
Или дитя пред материнским ликом,
Он ей ни в чем уж больше не перечит,
Вот без преград она икру-то мечет.

Воск тверд. Но так мягчает от нагрева,
Что тронешь — отпечаток налицо.
Надежду заменяет пыл душевный,
Не пахнувший ни мерой, ни концом,
Любовь отнюдь не родственница страха,
Прет на рожон, дурна, что россомаха.

Нахмурь он бровь, и выльется обратно
Нектар слюны из жадных женских уст,
Любая колкость гонит безвозвратно
Страсть, шип обороняет алый куст.
Но страсть и двадцать обойдет замков,
Рвя все цветы, всех избежав шипов.

For pity now she can no more detain him;
The poor fool prays her that he may depart:
She is resolv'd no longer to restrain him,
Bids him farewell, and look well to her heart,
 The which, by Cupid's bow she doth protest,
 He carries thence incaged in his breast.

'Sweet boy,' she says, 'this night I 'll waste in sorrow,
For my sick heart commands mine eyes to watch.
Tell me, Love's master, shall we meet to-morrow?
Say, shall we? shall we? wilt thou make the match?'
 He tells her, no; to-morrow he intends
 To hunt the boar with certain of his friends.

'The boar!' quoth she; whereat a sudden pale,
Like lawn being spread upon the blushing rose,
Usurps her cheeks, she trembles at his tale,
And on his neck her yoking arms she throws:
 She sinketh down, still hanging by his neck,
64 He on her belly falls, she on her back.



Жаль, до утра не удержать болвана,
Что ноет, умоляя отпустить,
И ей приходится рот оторвать от крана,
Сказав: «Прощай же, да не смей забыть!
Как гадко унести во рту с собою
Чужое сердце с воткнутой стрелой!

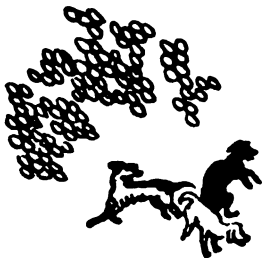
Ах, сладенький, я до утра проплачу!
Тебя глаза больному сердцу не покажут,
Как насчет завтра смотришь? А? А, зайчик?
А, как ты завтра? Что, мой бог, ведь да же?»
«Нет, извини, — ответила стена, —
Собрался кое с кем на кабана».

«На кабана?» Вот тут она бледнеет.
Как полотно над толькочтошной розой,
От слова «вепрь» в лицо ей стужа веет.
На шее виснет, перепугана угрозой.
И, вроде ненарочно, вниз влечет.
И — на спину под ним, ловка, как черт!

Now is she in the very lists of love,
Her champion mounted for the hot encounter:
All is imaginary she doth prove,
He will not manage her, although he mount her;
That worse than Tantalus' is her annoy,
To clip Elysium and to lack her joy.

Even as poor birds, deceiv'd with painted grapes,
Do surfeit by the eye and pine the maw,
Even so she languisheth in her mishaps,
As those poor birds that helpless berries saw.
The warm effects which she in him finds missing,
She seeks to kindle with continual kissing.

But all in vain; good queen, it will not be:
She hath assay'd as much as may be prov'd;
Her pleading hath deserv'd a greater fee;
She 's Love, she loves, and yet she is not lov'd.
'Fie, fie!' he says, 'you crush me; let me go;
You have no reason to withhold me so.'



Неужто дождалась? Уж он на ней!
Верхом соколик жаркий, все готово!
О, сок мечты — обильней всех слюней!
Прижмурилась... Ан нет толчка живого...
И сух возле воды Тантала рот,
Зашла, вишь, баба в рай, да сразу ж от ворот...

Как бедные обманутые птички
Рисованные ягоды клюют,
Так машут ее ноги по привычке,
А ягод нет в желудках птиц, и тут...
Жар наверстать, упущенный под животом,
Старается целующимся ртом.

Все без толку, царица, зря махала,
Все средства хороши, да толку в них...
Ты, расстаравшись, здорово попала,
Любовь ты. Ты влюбилась. Извини...
«Тьфу на тебя, — орет, — пусти, достала!
С чего б опять ты так меня захомутала?»



'Thou hadst been gone,' quoth she, 'sweet boy, ere this,
But that thou told'st me thou wouldst hunt the boar.
O! be advis'd; thou know'st not what it is
With javelin's point a churlish swine to gore,
Whose tushes never sheath'd he whetteth still,
Like to a mortal butcher, bent to kill.

'On his bow-back he hath a battle set
Of bristly pikes, that ever threat his foes;
His eyes like glow-worms shine when he doth fret;
His snout digs sepulchres where'er he goes;
Being mov'd, he strikes whate'er is in his way,
And whom he strikes his crooked tushes slay.

'His brawny sides, with hairy bristles arm'd,
Are better proof than thy spear's point can enter;
His short thick neck cannot be easily harm'd;
Being ireful, on the lion he will venture:
The thorny brambles and embracing bushes,
As fearful of him part, through whom he rushes.

68

'Alas! he nought esteems that face of thine,
To which Love's eyes pay tributary gazes;
Nor thy soft hands, sweet lips, and crystal eyne,
Whose full perfection all the world amazes;
But having thee at vantage, wondrous dread!
Would root these beauties as he roots the mead.

«О, ты б ушел, мой сладкий, уходя,
Но страшен мне рассказ твой об охоте,
Предупреждаю я тебя, дитя,
Вам кабана не взять за здорово живете,
И как мясник скотинушке — штыком,
Ужасен недобитый вепрь клыком!

Щетинистая морда кабана,
Вся в пене, угрожающе-ужасна,
И над глазами алыми спина
Горбата, почву жрет он ежечасно,
Могилы роя всем, кто попадет
На клык его. Он хрюкает, ревет.

Его бока щетинисто черствы,
Поди-ка проколи их, мальчик, пикой,
До толстой шеи не достать, увы!
Во гневе бьется он со львом-владыкой,
Колючие кусты — и те, пасуя,
Когда он прет, сигают врассыпную.

69

Он не увидит красоты твоей
И не замрет от блеска сих очей,
Прекрасных рук, губ нежных не оценит,
Как мир весь оценил, а только морду вспенит.
И если доберется, чур! чур! Ах!
Изроет грудь, как роется в корнях.

'O! let him keep his loathsome cabin still;
Beauty hath nought to do with such foul fiends:
Come not within his danger by thy will;
They that thrive well take counsel of their friends.
 When thou didst name the boar, not to dissemble,
 I fear'd thy fortune, and my joints did tremble.

'Didst thou not mark my face? was it not white?
Saw'st thou not signs of fear lurk in mine eye?
Grew I not faint? And fell I not downright?
Within my bosom, whereon thou dost lie,
 My boding heart pants, beats, and takes no rest,
 But, like an earthquake, shakes thee on my breast.

'For where Love reigns, disturbing Jealousy
Doth call himself Affection's sentinel;
Gives false alarms, suggesteth mutiny,
And in a peaceful hour doth cry "Kill, kill!"
 Distempering gentle Love in his desire,
 As air and water do abate the fire.

Не тронь ты лежбища его свиного,
Красавцу ни к чему опасный монстр.
Риск добровольный пуст, малыш, верь слову,
Удачлив тот, чей слух к совету друга остр.

Мои коленки стукнулись, как камни
Судьбы, едва назвал ты кабана мне.

Заметил ты, как стала я бледна?
А ужаса во взгляде не увидел?
Кольцом рук, ног своих от кабана
Влеку тебя к груди. О, вниди, вниди!

Грудь взволновалась, сплошь сердцебиенье,
Тебя качнувши, как землетрясенье.

Ведь я ревную, так всегда в любви
Есть ревность — ложный сторож наслажденья,
„Враг, враг! — кричит. — Вор, вор, лови, дави!
Бей насмерть!“ А вокруг — ни дуновенья.

Так сердцу недалеко до беды,
Как факелу от ветра да воды.



'This sour informer, this bate-breeding spy,
This canker that eats up Love's tender spring,
This carry-tale, dissentious Jealousy,
That sometime true news, sometime false doth bring,
 Knocks at my heart, and whispers in mine ear
 That if I love thee, I thy death should fear:

'And more than so, presenteth to mine eye
The picture of an angry-chafing boar,
Under whose sharp fangs on his back doth lie
An image like thyself, all stain'd with gore;
 Whose blood upon the fresh flowers being shed
 Doth make them droop with grief and hang the head.

'What should I do, seeing thee so indeed,
That tremble at the imagination?
The thought of it doth make my faint heart bleed,
And fear doth teach it divination:

72 I prophesy thy death, my living sorrow,
 If thou encounter with the boar to-morrow.

'But if thou needs wilt hunt, be rul'd by me;
Uncouple at the timorous flying hare,
Or at the fox which lives by subtilty,
Or at the roe which no encounter dare:
 Pursue these fearful creatures o'er the downs,
 And on thy well-breath'd horse keep with thy hounds.

Наушник лжив. Лжив пакостный шпион!
Червь, пожирающий весну любовную,
Лжет языком правдивой сказки он,
И вдруг соврет всю правду безусловную.
Мне голос был, вещует сердце мне,
Кошмар, закат твоих мне видеть дней,

Мне больно, мне представилось сейчас,
Как будто здесь взбешенный был кабан,
На чьих спинных шипах лежал как раз
Тебе подобный некто, в дырах ран,
С болтающейся мертвой головой,
И кровь текла в цветочек голубой.

Что делать мне с видением больным?
Оно привиделось и скрылось,
Но мысль о нем не скрылась с ним,
Молю, прошу, ну сделай милость,
Тебе – смерть, горе мне! – Я чую в токах ветра,
Когда завтра ты догонишь вепря.

73

Тебе подай охоту? Что ж, изволь,
Гоняй себе по рошицам зайчишку,
Лису удрать из норки приневольт,
Оленя, длиннорогого не слишком,
Гоняйся за трусливыми зверями,
Скачи, трави их злыми кобелями!

'And when thou hast on foot the purblind hare,
Mark the poor wretch, to overshoot his troubles
How he outruns the winds, and with what care
He cranks and crosses with a thousand doubles:
 The many musits through the which he goes
 Are like a labyrinth to amaze his foes.

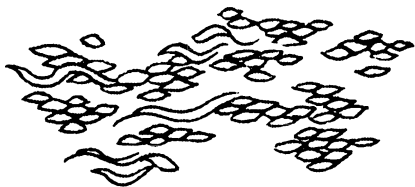
'Sometime he runs among a flock of sheep,
To make the cunning hounds mistake their smell,
And sometime where earth-delving conies keep,
To stop the loud pursuers in their yell,
 And sometime sorteth with a herd of deer;
 Danger deviseth shifts; wit waits on fear:

'For there his smell with others being mingled,
The hot scent-snuffing hounds are driven to doubt,
Ceasing their clamorous cry till they have singled
With much ado the cold fault cleanly out;
 Then do they spend their mouths: Echo replies,
74 As if another chase were in the skies.

Поднимут псы в кустах косо́го труса,
А он — петлять, хитрить, судьбы спастись,
За ним, за ветром вскачь, — как хочешь, дело вкуса, —
Туда, сюда, он не начнет кусаться,
Он из ложбинки в норку да в ложбинку,
Задаст задачку, умо́тает псинку.

Проскачет меж овец густой отары,
Запахнет жирным запахом овцы,
Заскочит в гости к кролику на шару —
И вдруг замолкнут, потерявшись, псы.
А то в оленьих катышках потрется...
У трусов — ну откуда что берется?

Смешает запахи, поди его унюхай,
Надует ополчившуюся свору,
Лай смолкнет, зазвенит комарик в ухо,
Но снова жарким гончим запах впору,
И с облаков раздастся эха звон,
Как будто на небе такой же гон.



'By this, poor Wat, far off upon a hill,
Stands on his hinder legs with listening ear,
To hearken if his foes pursue him still:
Anon their loud alarums he doth hear;
 And now his grief may be compared well
 To one sore sick that hears the passing-bell.

'Then shalt thou see the dew-bedabbled wretch
Turn, and return, indenting with the way;
Each envious briar his weary legs doth scratch,
Each shadow makes him stop, each murmur stay:
 For misery is trodden on by many,
 And being low never reliev'd by any.

'Lie quietly, and hear a little more;
Nay, do not struggle, for thou shalt not rise:
To make thee hate the hunting of the boar,
Unlike myself thou hear'st me moralize,
 Applying this to that, and so to so;
76 For love can comment upon every woe.

'Where did I leave?' 'No matter where,' quoth he;
'Leave me, and then the story aptly ends:
The night is spent,' 'Why, what of that?' quoth she.
'I am,' quoth he, 'expected of my friends;
 And now 'tis dark, and going I shall fall.'
 'In night,' quoth she, 'desire sees best of all.'

А заяц издалека, на холме
На лапы задние приподнимаясь,
Ушами лай ловя, окаменел.
И скачет сердце в нем, не унимаясь,
В томленьи смертном слыша, как сквозь сон,
Лай, как болящий похоронный звон.

Узришь его дорожки ты в росе,
Петляющий его увидишь путь,
Как лапки обегали камни все,
Все тени, все. Всё наводило жуть.
Все, вся, опасно было отовсюду.
Ни дружбе не случиться с ним, ни чуду.

Лежи, лежи, не прыгай, мальчик мой,
Меня послушай, никуда не рвись,
И дурь кабанью от себя долой,
Хоть не люби меня, да подчинись,
Будь я хоть кто, а дело говорю.
Любовь все знает! Верь, я в корень зрю!

77

Так что я говорила?» — «Наплевать!
Пусти, пойду, и сказочке конец,
Ночь на дворе!» — «Ну, ночь.» — «Я ж так проспать
Рискую встречу! — заорал юнец. —
А счас пойду да шлепнусь в темноте!»
Она в ответ: «Тьма — светоч красоте.

'But if thou fall, O! then imagine this,
The earth, in love with thee, thy footing trips,
And all is but to rob thee of a kiss.
Rich preys make true men thieves; so do thy lips
 Make modest Dian cloudy and forlorn,
 Lest she should steal a kiss and die forsworn.

'Now of this dark night I perceive the reason:
Cynthia for shame obscures her silver shine,
Till forging Nature be condemn'd of treason,
For stealing moulds from heaven that were divine;
 Wherein she fram'd thee in high heaven's despite,
 To shame the sun by day and her by night.

'And therefore hath she brib'd the Destinies,
To cross the curious workmanship of nature,
To mingle beauty with infirmities,
And pure perfection with impure defeature;
 Making it subject to the tyranny
78 Of mad mischances and much misery;



И упадешь — знать, за ноги земля
Тебя схватила, чтоб тобой владеть,
Чтобы насильно целовать тебя,
Стать вдруг воровкой: как от денег, обалдеть
От губ! Диана прячется сама
Средь туч, боясь сойти с тобой с ума!

Я, кстати, понимаю, что за мрак —
Богиня взгляд серебряный отводит,
Вот до чего прекрасен ты, дурак,
Что небо от сравнения уходит!
Боясь, что блеском солнце ты затмишь,
А месяц станет сереньким, какмышь!»

Взывает к року бледная богиня,
Чтоб с нею не могла земля равняться:
«Рок, изуродуй красоты святыни,
Суди ее чертам в тенях теряться,
Предметом сделав злобных тираний
И низостей, да и вообще, убий!»

'As burning fevers, agues pale and faint,
Life-poisoning pestilence and frenzies wood,
The marrow-eating sickness, whose attain
Disorder breeds by heating of the blood;
 Surfeits, imposthumes, grief, and damn'd despair,
 Swear nature's death for framing thee so fair.

'And not the least of all these maladies
But in one minute's fight brings beauty under:
Both favour, savour, hue, and qualities,
Whereat the impartial gazer late did wonder,
 Are on the sudden wasted, thaw'd and done,
 As mountain-snow melts with the mid-day sun.

'Therefore, despite of fruitless chastity,
Love-lacking vestals and self-loving nuns,
That on the earth would breed a scarcity
And barren dearth of daughters and of sons,
 Be prodigal: the lamp that burns by night
80 Dries up his oil to lend the world his light.

'What is thy body but a swallowing grave,
Seeming to bury that posterity
Which by the rights of time thou needs must have,
If thou destroy them not in dark obscurity?
 If so, the world will hold thee in disdain,
 Sith in thy pride so fair a hope is slain.

И рок наслал, послушав, бледный жар.
Яд в кровь проник — чумою кровь согрелась,
Гниющих нервов одеревенелость...
«Впитали кости плавящий пожар,
За блеск твой мстит безумием уныний
Свод горний черный, свод горний синий!

И нет границы прокаженных дней,
Чей миг с лихвою приведет к победе,
Над зыбкой красотой высоких чувств, страстей,
И ты последний видел их на свете.
Высокий хлад их, снег гранитных гор,
Кипит, растоплен солнцем, крутит сор!

Так что ж невинность без толку хранишь?
Ты что, весталка? — чист, как три монашки?!
С них брать пример — так ни один малыш
Не проорет, что он рожден в рубашке!
Будь проще, траться, в лампу масло лей!
Чтоб не стемнела прелесть наших дней!

81

Что плоть твоя такое, как не гроб?
Детей под крышкой душащий твоих,
Которых не родил ты — жмот ты, жлоб!
В сокрытой темноте ты душишь их,
И что ж, что ты умен да не распутник?
Когда всем видно, кто ты есть — преступник!

'So in thyself thyself art made away;
A mischief worse than civil home-bred strife,
Or theirs whose desperate hands themselves do slay,
Or butcher-sire that reaves his son of life.
 Foul-cankering rust the hidden treasure frets,
 But gold that 's put to use more gold begets.'

'Nay then,' quoth Adon, 'you will fall again
Into your idle over-handled theme;
The kiss I gave you is bestow'd in vain,
And all in vain you strive against the stream;
 For by this black-fac'd night, desire's foul nurse,
 Your treatise makes me like you worse and worse.

'If love have lent you twenty thousand tongues,
And every tongue more moving than your own,
Bewitching like the wanton mermaid's songs,
Yet from mine ear the tempting tune is blown;
 For know, my heart stands armed in mine ear,
 And will not let a false sound enter there;

В тебе война. Гражданская война!
Война с тобою будущих детей,
Самоубийца, ты хоть покрасней!
Детоубийце совесть не страшна!
Глуп в землю зарывающий талант.
Трать деньги, иль ты жизни дилетант!»

«Опять ты начала свою волынку?
Да я ее уж слушать не могу,
Зачем я в губы целовал кретинку,
Что в лоб, что по лбу! Дитяtko, „агу“ —
Ночные похотливые потуги,
Мне что-то мерзко от такой подруги.

Имей ты двадцать тысяч языков,
Чушь мелющих сердечно, как листочки,
Звучащих, как сирен запретный зов, —
Врешь! уши воском залиты, как бочки.
Привязан к мачте крепкою струной,
Я равнодушен к пагубе морской!



'Lest the deceiving harmony should run
Into the quiet closure of my breast;
And then my little heart were quite undone,
In his bedchamber to be barr'd of rest.

No, lady, no; my heart longs not to groan,
But soundly sleeps, while now it sleeps alone.

'What have you urg'd that I cannot reprove?
The path is smooth that leadeth on to danger;
I hate not love, but your device in love,
That lends embracements unto every stranger.

You do it for increase: O strange excuse!
When reason is the bawd to lust's abuse.

'Call it not love, for Love to heaven is fled,
Since sweating Lust on earth usurp'd his name;
Under whose simple semblance he hath fed
Upon fresh beauty, blotting it with blame;

84 Which the hot tyrant stains and soon bereaves,
As caterpillars do the tender leaves.

'Love comforteth like sunshine after rain,
But Lust's effect is tempest after sun;
Love's gentle spring doth always fresh remain,
Lust's winter comes ere summer half be done.

Love surfeits not, Lust like a glutton dies;
Love is all truth, Lust full of forged lies.

От уха прочь, вокальное искусство!
С моим дыханьем песня эта не слилась.
Бей, сердце, не узнавшее ни чувства,
Бей ровно, никуда не торопясь!
Нет, фея, нет, не рань его жестоко,
Пусть дышит грудь легко и одиноко!

Беспорных слов на свете нет, лиса,
Путь неуклонный до беды доводит!
Любовь чиста — но если не грязна
И жрет не все, что по пути находит
А жрет — так словно опухоль растет,
Все врет, все извиняет тем, что жрет!

Так не зови любовью аппетит!
Хоть заменил собой он горний хлад страстей,
Любви, под маской, жадный рот смердит,
Спалил цветы зловонный суховей,
Всей нежностью природы завладев,
Бор жрет огромной гусеницы зев.

Как дождь грибной, любовь блестит в траве,
А блуд — как буря в полдень золотой!
Любовь — капель небес на синеве,
Блуд — заморозки майскою зарей!
Любовь — бессмертна! Похоть — истлевает!
Любви все ведомо, блуд — все позабывает!

'More I could tell, but more I dare not say;
The text is old, the orator too green.
Therefore, in sadness, now I will away;
My face is full of shame, my heart of teen:
 Mine ears, that to your wanton talk attended,
 Do burn themselves for having so offended.'

With this he breaketh from the sweet embrace
Of those fair arms which bound him to her breast,
And homeward through the dark laund runs apace;
Leaves Love upon her back deeply distress'd.
 Look, how a bright star shooteth from the sky,
 So glides he in the night from Venus' eye;

Which after him she darts, as one on shore
Gazing upon a late-embarked friend,
Till the wild waves will have him seen no more,
Whose ridges with the meeting clouds contend:
 So did the merciless and pitchy night
86 Fold in the object that did feed her sight.

Еще бы я сказал тебе, да хватит!
Без ус оратор, с бородою речь,
Пошел я. Что с тоской здесь время тратить?
Тут стыд, тут гнев всю душу могут сжечь...
Глянь, уши загорелись и пылают,
Жжет слух твой пьяный бред и оглушает».

Он разрывает сладкое кольцо
Объятий, у груди его державших,
И удирает в ночь, закрыв лицо.
И на спине лежит, не солоно хлебавши,
Венера. С неба падает звезда...
И на щеке ее горит слеза.

Следит за ним — звездой своей упавшей,
Так, как порой отплывший дружный челн
Следим, давно исчезнувший меж волн,
Уж с облаками паруса смешавший.
Так волны ночью унесли с собой
Того, кем взор питался голубой.



Whereat amaz'd, as one that unaware
Hath dropp'd a precious jewel in the flood,
Or 'stonish'd as night-wanderers often are,
Their light blown out in some mistrustful wood;
Even so confounded in the dark she lay,
Having lost the fair discovery of her way.

And now she beats her heart, whereat it groans,
That all the neighbour caves, as seeming troubled,
Make verbal repetition of her moans;
Passion on passion deeply is redoubled:
'Ay me!' she cries, and twenty times, 'Woe, woe!'
And twenty echoes twenty times cry so.

She marking them, begins a wailing note,
And sings extemporally a woeful ditty;
How love makes young men thrall and old men dote;
How love is wise in folly, foolish-witty:
Her heavy anthem still concludes in woe,
88 And still the choir of echoes answer so.

Her song was tedious, and outwore the night,
For lovers' hours are long, though seeming short:
If pleas'd themselves, others, they think, delight
In such like circumstance, with such like sport:
Their copious stories, oftentimes begun,
End without audience, and are never done.

Растерянна, как девушка, в реке
Случайно утопившая драгое
Кольцо, иль путник, факел в чьей руке
Погас негаданно порой ночью;
Кромешной темнотой удручена,
Тихонько лежа плакала она

И по груди рукой себя стучала.
Ей эхо вторило кружных пещер
И стоны бедной девы повторяло,
И возвещало боль ее потерь...
Раз двадцать повторило слово «горе» —
Звук отражений слов в ночном миноре.

И, слыша звук, унылая, она
Пещерам вторить песней принялася.
Преданий в ней открылась старина,
Пыл старческий, юнцов безусых страсти,
И мудрость глуповатую стихов
Поет она под хор пещерных ртов.

89

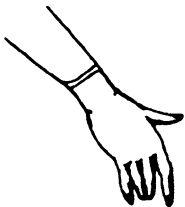
Всю ночь продлились скучные напевы,
Но ночь короткою казалась ей,
Важны влюбленным маленькие темы,
Которые чем дальше, тем скучней;
Они с восторгом все несут тот бред,
Которому конца и слушателя нет.

For who hath she to spend the night withal,
But idle sounds resembling parasites;
Like shrill-tongu'd tapsters answering every call,
Soothing the humour of fantastic wits?

She says, 'Tis so:' they answer all, 'Tis so;
And would say after her, if she said 'No.'

Lo! here the gentle lark, weary of rest,
From his moist cabinet mounts up on high,
And wakes the morning, from whose silver breast
The sun ariseth in his majesty;
Who doth the world so gloriously behold,
That cedar-tops and hills seem burnish'd gold.

Venus salutes him with this fair good morrow:
'O thou clear god, and patron of all light,
From whom each lamp and shining star doth borrow
The beauteous influence that makes him bright,
There lives a son that suck'd an earthly mother,
90 May lend thee light, as thou dost lend to other.'



С кем ночь ей провести, кому открыться?
Лишь эхо-приживалка все возьмет,
Чтоб, как служанка, тут же согласиться,
Хоть и незнамо, что она несет.

Но спросит: «Да?» — и эхо «Да!» ответит;
«Нет» скажет — и служанка с нею в «нети».

Но утро уж, и взвился жаворонок,
Скучая сном, из комнатки своей,
Рассветный вздох серебрян и так тонок...
Подсолнух отделился от корней,
Взошел на небо — землю рисовать,
Златить холмы и кроны штриховать.

Венера бога солнца привечает:
«Эй, здравствуй, светозарный царь лучей!
Свечой и звездами твой жезл повелевает,
Ты держишь связку к красоте ключей,
Так знай: рожденный матерью земной
Адонис свет затмил высокий твой!»

This said, she hasteth to a myrtle grove,
Musing the morning is so much o'erworn,
And yet she hears no tidings of her love;
She hearkens for his hounds and for his horn:
 Anon she hears them chant it lustily,
 And all in haste she coasteth to the cry.

And as she runs, the bushes in the way
Some catch her by the neck, some kiss her face,
Some twine about her thigh to make her stay:
She wildly breaketh from their strict embrace,
 Like a milch doe, whose swelling dugs do ache,
 Hasting to feed her fawn hid in some brake.

By this she hears the hounds are at a bay;
Whereat she starts, like one that spies an adder
Wreath'd up in fatal folds just in his way,
The fear whereof doth make him shake and shudder;
 Even so the timorous yelping of the hounds
92 Appals her senses, and her spirit confounds.

For now she knows it is no gentle chase,
But the blunt boar, rough bear, or lion proud,
Because the cry remaineth in one place,
Where fearfully the dogs exclaim aloud:
 Finding their enemy to be so curst,
 They all strain courtesy who shall cope him first.

И, прихвастнув, мчит в миртовую рощу,
Волнуясь, что уж утро-то, давно ль
Ты пробудился, друг, от мрака ночи?
Не слышно псов. Молчит рожок. Тишь. Зной.
Но вот в лесной глуши рожково пенье.
Крик, шум, — туда! Дрожа от нетерпенья,

Бежит она, и лес ей цепкий вдруг,
Ласкаясь, то сандалию снимает
С босой ноги, то веткой вырывает
Серьгу, то платье ей цепляет сук.
Она, как лань лесная, боязлива,
Теленка мчит кормить. Вот брызнет молозиво!

Но — ах! Вдруг изменился песий лай.
И дева на мгновенье каменеет,
Как если бы всползла на тропки край
Змея и зашипела перед нею.
Так визг собачий грудь ее тревожит,
Смущая ум, змеею сердце гложет.

93

Не заяц там! Не заяц! Нет! Медведь!
Нет, хуже! Лев! Ах, нет! Кабан проклятый!
Все там же песий визг, а он — реветь,
Скулят псы, будто малые щенята,
Противник страшен тут наверняка,
Поди-ка, преврати ты пса в щенка!

This dismal cry rings sadly in her ear,
Through which it enters to surprise her heart;
Who, overcome by doubt and bloodless fear,
With cold-pale weakness numbs each feeling part;
 Like soldiers, when their captain once doth yield,
 They basely fly and dare not stay the field.

Thus stands she in a trembling ecstasy,
Till, cheering up her senses sore dismay'd,
She tells them 'tis a causeless fantasy,
And childish error, that they are afraid;
 Bids them leave quaking, bids them fear no more:
 And with that word she spied the hunted boar,

Whose frothy mouth bepainted all with red,
Like milk and blood being mingled both together,
A second fear through all her sinews spread,
Which madly hurries her she knows not whither:
 This way she runs, and now she will no further,
 But back retires to rate the boar for murder.

Звенит в ушах унылый визг собак
И жалким страхом в сердце проникает,
Кровь в тот же миг от сердца отливает,
Хладеют руки и темно в глазах!

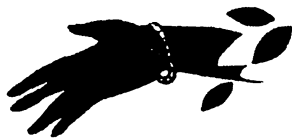
И члены каменеют, как солдаты —
Без знамени и ждущие расплаты.

И вот стоит трепещущей овечкой
И чувства унимает, торопясь,
Себе твердя: мол, чудятся мне вечно
Какие-нибудь страхи, не спросясь!

Да перестать бы глупостей страшиться!
Вдруг — вебрь в крови! Он прыгает, он мчится,

Дымятся кровь и пена на клыках,
Кровь с молоком, как говорят порою;
Поджилки ей трясет повторный страх,
И — ах! — бежит, не властвуя собою!

И встала. Нет, уж бросилась обратно,
И мысль одна: «Убит, убит нещадно!»



A thousand spleens bear her a thousand ways,
She treads the path that she untreads again;
Her more than haste is mated with delays,
Like the proceedings of a drunken brain,
 Full of respects, yet nought at all respecting,
 In hand with all things, nought at all effecting.

Here kennel'd in a brake she finds a hound,
And asks the weary caitiff for his master,
And there another licking of his wound,
'Gainst venom'd sores the only sovereign plaster;
 And here she meets another sadly scowling,
 To whom she speaks, and he replies with howling.

When he hath ceas'd his ill-resounding noise,
Another flap-mouth'd mourner, black and grim,
Against the welkin volleys out his voice;
Another and another answer him,
 Clapping their proud tails to the ground below,
96 Shaking their scratch'd ears, bleeding as they go.

Look, how the world's poor people are amaz'd
At apparitions, signs, and prodigies,
Whereon with fearful eyes they long have gaz'd,
Infusing them with dreadful prophecies;
 So she at these sad sighs draws up her breath,
 And, sighing it again, exclaims on Death.

Уже кругом все тропы обежала,
Лесок, тропинку к озеру, лесок,
Кусты несчастные переломала,
Так пьяный, бестолковый мужичок
Кругом избы своей, качаясь, бродит
И все пути теряет, что находит.

Вот в буреломе видит пса она:
Он лает так стыдливо, и не в стае.
Другой пес лижет раны, и слюна
В крови и, не дай бог, конечно, в яде...
К избитой суке робко обратила
Слова, и та в ответ протяжно взвыла;

И долго в небо тек сей скорбный вой.
Вдруг пес явился, угольный, как траур,
Скуля поникшей низко головой.
Еще, еще... И воют всей оравой.
Дрожа, поджавши гордые хвосты,
Прижаты уши их, хватают воздух рты.

97

Весь мир людской печально суеверен
И верует (обычай старины)
В духов и ведьм, таинственные сны
И видит смысл, что где-то в них затерян.
Так страшным псам поверила она
И Смерть зовет — на ней лежит вина!

'Hard-favour'd tyrant, ugly, meagre, lean,
Hateful divorce of love,'—thus chides she Death,—
'Grim-grinning ghost, earth's worm, what dost thou mean
To stifle beauty and to steal his breath,
Who when he liv'd, his breath and beauty set
Gloss on the rose, smell to the violet?

'If he be dead, O no! it cannot be,
Seeing his beauty, thou shouldst strike at it;
O yes! it may; thou hast no eyes to see,
But hatefully at random dost thou hit.
Thy mark is feeble age, but thy false dart
Mistakes that aim and cleaves an infant's heart.

'Hadst thou but bid beware, then he had spoke,
And, hearing him, thy power had lost his power.
The Destinies will curse thee for this stroke;
They bid thee crop a weed, thou pluck'st a flower.
Love's golden arrow at him should have fled,
And not Death's ebon dart, to strike him dead.



«О, Смерть, о тощий и костлявый враг!
За что ты так любовь возненавидел?
Гробовый призрак, земляной червяк!
Прочь из красы похищенной, изыди!
Кому нанес обиду бренный прах,
Что розой цвел, и как фиалка пах?!

Скажи, он мертв? О нет, не может статься!
Нет! Ты красой его побеждена!
Нет! Ты слепа! Не розам удивляться,
Рвать с ненавистью — вот твои дела!
Ты в старость метишь, но незрячий глаз
Ребенка в сердце поразил в злой час.

Как знать, лишь слово он произнеси,
То ты бы, смерть, сдалась, ты б отступила!
Рок повелел тебе в ад душу унести,
Но не сорняк с землей ты разлучила,
Амура лук не властен был над ним, —
Твой черный лук его развеял в дым!

'Dost thou drink tears, that thou provok'st such weeping?
What may a heavy groan advantage thee?
Why hast thou cast into eternal sleeping
Those eyes that taught all other eyes to see?
Now Nature cares not for thy mortal vigour,
Since her best work is ruin'd with thy rigour.'

Here overcome, as one full of despair,
She vail'd her eyelids, who, like sluices, stopp'd
The crystal tide that from her two cheeks fair
In the sweet channel of her bosom dropp'd;
But through the flood-gates breaks the silver rain,
And with his strong course opens them again.

O! how her eyes and tears did lend and borrow;
Her eyes seen in the tears, tears in her eye;
Both crystals, where they view'd each other's sorrow,
Sorrow that friendly sighs sought still to dry;
But like a stormy day, now wind, now rain,
100 Sighs dry her cheeks, tears make them wet again.

Variable passions throng her constant woe,
As striving who should best become her grief;
All entertain'd, each passion labours so,
That every present sorrow seemeth chief,
But none is best; then join they all together,
Like many clouds consulting for foul weather.

Ты шла горючих слез моих напиться?
Зачем тебе мой сиротливый плач?
Зачем ему теперь так сладко спится?
Ему, при ком был всякий слишком зряч.
С тобой теперь весь мир пребудет в ссоре,
Ты лучшее украли в нем! О, горе!»

И обмерла в молчании тоскливом.
Упали кудри на прикрытые глаза,
Закрывши путь слезам, как морю шлюз перед отливом,
На перси чтоб не капнула слеза.
Но веки не удержат. Слез ручей,
Серебрян, у Венеры из очей.

Как отличишь глаза ее от слез в них?
Раз слезы на глазах — глаза в слезах!
Двойной сапфир в двойной печали в воздух
Свой точит блеск, чуть сухо на щеках,
Как в день двоящийся — то ветренный, то грозный,
Вздых высушит лицо, да дождь намочит слезный. 101

Ее стенанья разным полны чувством,
Как волны в море, кто из них быстрее?
Вал каждый говорит, что от него ей грустно,
Но всех соседних не избежать ей.
Нет лучшей между многими волнами;
Так небо, затянувшись облаками...

By this, far off she hears some huntsman holla;
A nurse's song ne'er pleas'd her babe so well:
The dire imagination she did follow
This sound of hope doth labour to expel;
 For now reviving joy bids her rejoice,
 And flatters her it is Adonis' voice.

Whereat her tears began to turn their tide,
Being prison'd in her eye, like pearls in glass;
Yet sometimes falls an orient drop beside,
Which her cheek melts, as scorning it should pass,
 To wash the foul face of the sluttish ground,
 Who is but drunken when she seemeth drown'd.

O hard-believing love! how strange it seems
Not to believe, and yet too credulous;
Thy weal and woe are both of them extremes;
Despair and hope make thee ridiculous:
 The one doth flatter thee in thoughts unlikely,
102 In likely thoughts the other kills thee quickly.

«Что? Парус? Здесь?» — кричит охотник молодой,
Как колыбельная сквозь детский страх ночной,
И холст навязчивый воображенья
Надежды звук палит без сожаленья.
Огонь надежды радостью пылает,
Знакомый голос... Сердце, екнув, тает.

О, чудо! Ужли слезы мчатся вспять?
И точно, в чашки жемчуга катятся.
Одна сорвалась на щеку опять
И начинает в каплю расплавляться,
Чтоб в грязный рот попасть праматери-земле,
Всегда которая от слез навеселе.

Любовь хитра (в том смысле, что сложна).
Не верит. Верит тут же безоглядно,
Страданьям, счастьям всем — цена одна!
Ложь — свет! Ложь — мрак! Не стыдно? Ну и ладно...
Мрак врет, что он на вас сегодня злой,
Свет тут же врет, что любит всей душой,



Now she unweaves the web that she hath wrought,
Adonis lives, and Death is not to blame;
It was not she that call'd him all to naught,
Now she adds honours to his hateful name;
 She clepes him king of graves, and grave for kings,
 Imperious supreme of all mortal things.

'No, no,' quoth she, 'sweet Death, I did but jest;
Yet pardon me, I felt a kind of fear
Whenas I met the boar, that bloody beast,
Which knows no pity, but is still severe;
 Then, gentle shadow,—truth I must confess,—
 I rail'd on thee, fearing my love's decease.

'Tis not my fault: the boar provok'd my tongue;
Be wreak'd on him, invisible commander;
'Tis he, foul creature, that hath done thee wrong;
I did but act, he 's author of my slander:
 Grief hath two tongues: and never woman yet,
104 Could rule them both without ten women's wit.'

Thus hoping that Adonis is alive,
Her rash suspect she doth extenuate;
And that his beauty may the better thrive,
With Death she humbly doth insinuate;
 Tells him of trophies, statues, tombs; and stories
 His victories, his triumphs, and his glories.

И Пенелопа распускает ткань...
Адонис жив! Чего на Смерть ругаться?
Не унесла, так значит, и не дрянь!
Минутный враг уже любим, признаться.
 Уж Смерть – Царица гробов, Гроб царей,
 И даже – разрешенье всех цепей.

«Нет, нет, ты, Смерть, не думай, я не злюсь,
Я так... Немного просто напугалась,
Я кабанов в крови, вообще, боюсь,
Такие звери... И, прости, сорвалось...
 Не гневайся, тень милая моя,
 За друга милого боялась сдуру я.

Я не хотела, все кабан дурацкий,
О, светлая, скажи, чтоб он издох!
Все он, свинья, ему бы все ругаться,
Его, его безнравственный подвох».
 Раздвоен горем женский язычок,
 С двумя не справится дам самых умных полк...

105

Надеясь, что Адонис-то живой,
Она должна повсюду извиниться,
Чтоб цвел красавчик, и – ни боже мой!
Перед курносой егозит девица,
 Все вспомнив: траурные крепы,
 Триумфы, слепки, гипсовые склепы...

'O Jove!' quoth she, 'how much a fool was I,
To be of such a weak and silly mind
To wail his death who lives and must not die
Till mutual overthrow of mortal kind;
For he being dead, with him is beauty slain,
And, beauty dead, black chaos comes again.

'Fie, fie, fond love! thou art so full of fear
As one with treasure laden, hemm'd with thieves;
Trifles, unwitnessed with eye or ear,
Thy coward heart with false bethinking grieves.'
Even at this word she hears a merry horn
Whereat she leaps that was but late forlorn.

As falcon to the lure, away she flies;
The grass stoops not, she treads on it so light;
And in her haste unfortunately spies
The foul boar's conquest on her fair delight;
Which seen, her eyes, as murder'd with the view,
Like stars asham'd of day, themselves withdrew:



«Набитая любовью дура! Стыдно!
Умом куриным, бабьим, не догнать,
Могла ль такую прелесть смерть отнять,
Пока хоть что-то живо? Очевидно,
С ним красота бы умерла сама,
А без нее бел свет сойдет с ума!

ТЬфу на любовь, тьфу на меня, трусиху!»
Так схваченный разбойником купец,
Все не смекнет, откуда взяться лиху,
Но в каждом звуке слышит свой конец.
Вдруг речь прервал охотничий рожок,
И превратилась девица в прыжок!

Как сокол на свисток, маша кудрями,
Как и всегда, не приминая трав,
Мчит, легкая, но вдруг, перед ногами,
Он оказался — ноги раскидав.
Лежит недвижно, сбитый кабаном.
Взор сразу гаснет, блекнут звезды в нем.

Or, as the snail, whose tender horns being hit,
Shrinks backwards in his shelly cave with pain,
And there, all smother'd up, in shade doth sit,
Long after fearing to creep forth again;
 So, at his bloody view, her eyes are fled
 Into the deep dark cabins of her head:

Where they resign their office and their light
To the disposing of her troubled brain;
Who bids them still consort with ugly night,
And never wound the heart with looks again;
 Who, like a king perplexed in his throne,
 By their suggestion gives a deadly groan,

Whereat each tributary subject quakes;
As when the wind, imprison'd in the ground,
Struggling for passage, earth's foundation shakes,
Which with cold terror doth men's minds confound.

 This mutiny each part doth so surprise
108 That from their dark beds once more leap her eyes;

And, being open'd, threw unwilling light
Upon the wide wound that the boar had trench'd
In his soft flank; whose wonted lily white
With purple tears, that his wound wept, was drench'd:
 No flower was nigh, no grass, herb, leaf, or weed,
 But stole his blood and seem'd with him to bleed.

Улитка прячет рожки, только тронь,
Болезненно уйдя в свою известку,
Уютной слизью, точно струйкой воску,
Тушá горячий ужаса огонь;
 Так пред кровавым телом женский взгляд
 В глазнице рожки спрятал, что торчат.

И, скрывшись в череп, факельщик дрожит,
О виденном твердя большим мозгам,
Мозг тушит факел зренья и брюзжит:
«Куда с огнем? Ты подпалишь мой храм!»
 Гудит царь-сердца погребальный звон,
 Горит алтарь и перевернут трон...

И все дрожат у города внутри.
Так газ, в земле сидящий, вдруг трясет
Тюрьмы своей ворота. Треск и хрип,
Ломает кладку, что возвел расчет.
 Весь организм так страшно содрогнулся,
 Что беглый взгляд нутра зрачков коснулся

100

И, против воли, вылился на свет
Сверх широченной и глубокой раны.
В боку лилейном – бивня страшный след,
Как слезы – сок из прорези багряный,
 Траву, цветы кругом кровь заливает,
 Трава как будто кровью истекает,

This solemn sympathy poor Venus noteth,
Over one shoulder doth she hang her head,
Dumbly she passions, frantically she doteth;
She thinks he could not die, he is not dead:

Her voice is stopp'd, her joints forget to bow,
Her eyes are mad that they have wept till now.

Upon his hurt she looks so steadfastly,
That her sight dazzling makes the wound seem three;
And then she reprehends her mangling eye,
That makes more gashes where no breach should be:

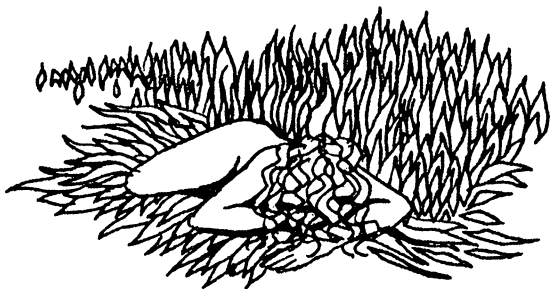
His face seems twain, each several limb is doubled;
For oft the eye mistakes, the brain being troubled.

'My tongue cannot express my grief for one,
And yet,' quoth she, 'behold two Adons dead!
My sighs are blown away, my salt tears gone,
Mine eyes are turn'd to fire, my heart to lead:

Heavy heart's lead, melt at mine eyes' red fire!

10

So shall I die by drops of hot desire.



И уронив головку на плечо,
Богиня на поляне скорби встала,
Но все еще не верит, все еще
Не верит в то, что смертного не стало.

Перехватило горло и движенье,
Глаза сошли с ума от напряженья.

И так упорно в трещину глядит,
Что видит три дрожащими зрачками,
И ненавидит взор свой, и дрожит:
«Что ужас ран утроили, вы пьяны?» —

Она шипит им. Стало тела два.
А меньше не вмещает голова.

«Что ж нынче мне не высказать тоски?
К тому же у меня двоится труп,
Слез больше нет, и легкие сухи,
Горят. Сплошной огонь свинцовых труб,
Я жаждала его, и не придется...
Свинец, наверно, из зрачков польется.



'Alas! poor world, what treasure hast thou lost?
What face remains alive that 's worth the viewing?
Whose tongue is music now? what canst thou boast
Of things long since, or anything ensuing?

The flowers are sweet, their colours fresh and trim;
But true-sweet beauty liv'd and died with him.

'Bonnet nor veil henceforth no creature wear!
Nor sun nor wind will ever strive to kiss you:
Having no fair to lose, you need not fear;
The sun doth scorn you, and the wind doth hiss you:
But when Adonis liv'd, sun and sharp air
Lurk'd like two thieves, to rob him of his fair:

'And therefore would he put his bonnet on,
Under whose brim the gaudy sun would peep;
The wind would blow it off, and, being gone,
Play with his locks: then would Adonis weep;
And straight, in pity of his tender years,
12 They both would strive who first should dry his tears.

'To see his face the lion walk'd along
Behind some hedge, because he would not fear him;
To recreate himself when he hath sung,
The tiger would be tame and gently hear him;
If he had spoke, the wolf would leave his prey,
And never fright the silly lamb that day.

Мир, я скажу тебе, что ты утратил!
Ты радость глаз утратил, мир проклятый,
И музыки тебе не услышать!
Мир стал теперь хромой, кривой, горбатый,
Свежи твои цветы, да и пестры,
Но кто ты без умершей красоты?

Начнись, простоволосых женщин эра,
Бесчарных, не целованных лучом
И воздухом, чья красота — химера,
Вас луч сожжет, вам станет ветер — бичом!
А как они к Адонису летели!
Щепотку чар уворовать хотели!

И шляпу надвигал на брови он,
Чтоб солнце под поля не проникало,
Срывая шляпу, ветер мчался вон,
Под плач Адониса, лохматил кудри шало,
И упиваясь видом слез молодых,
Ругались боги, кто осушит их!

113

Как пожирал его очами лев! —
Но спрятавшись, чтоб не пугать ребенка, —
А тот вдруг запоем, как флейта, звонко —
И тигр сомлел, ослабя страшный зев.
Заговорит — и волк, томясь от глада,
Не нападает на баранье стадо.

'When he beheld his shadow in the brook,
The fishes spread on it their golden gills;
When he was by, the birds such pleasure took,
That some would sing, some other in their bills
 Would bring him mulberries and ripe-red cherries;
 He fed them with his sight, they him with berries.

'But this foul, grim, and urchin-snouted boar,
Whose downward eye still looketh for a grave,
Ne'er saw the beauteous livery that he wore;
Witness the entertainment that he gave:
 If he did see his face, why then I know
 He thought to kiss him, and hath kill'd him so.

'Tis true, 'tis true; thus was Adonis slain:
He ran upon the boar with his sharp spear,
Who did not whet his teeth at him again,
But by a kiss thought to persuade him there;
 And nuzzling in his flank, the loving swine
 Sheath'd unaware the tusk in his soft groin.



Когда его тень падала в ручей,
То рыбки в ней сияли чистым златом,
А птицы пели на свету очей,
Слетались и кормили виноградом,
Слив, вишен сыпали, всего подряд,
Чтоб только мальчик подарил им взгляд.

А злобный вепрь с ужасными клыками,
Глядевший лишь сквозь землю на гробы,
И он не избежал своей судьбы:
Но, ослепленный красоты лучами,
Уверена, что взялся целовать,
А получилось только жизнь отнять...

Я в правде этих слов убеждена.
Адонис подбежал ударить пикой,
И вспыхнуло тут сердце кабана,
Не гневом, но любовью превеликой.
Он целоваться к мальчику полез,
А получился на боку надрез...

'Had I been tooth'd like him, I must confess,
With kissing him I should have kill'd him first;
But he is dead, and never did he bless
My youth with his; the more am I accurst.'
 With this she falleth in the place she stood,
 And stains her face with his congealed blood.

She looks upon his lips, and they are pale;
She takes him by the hand, and that is cold;
She whispers in his ears a heavy tale,
As if they heard the woeful words she told;
 She lifts the coffer-lids that close his eyes,
 Where, lo! two lamps, burnt out, in darkness lies;

Two glasses where herself herself beheld
A thousand times, and now no more reflect;
Their virtue lost, wherein they late excell'd,
And every beauty robb'd of his effect:
 'Wonder of time,' quoth she, 'this is my spite,
. 16 That, you being dead, the day should yet be light.

'Since thou art dead, lo! here I prophesy,
Sorrow on love hereafter shall attend:
It shall be waited on with jealousy,
Find sweet beginning, but unsavoury end;
 Ne'er settled equally, but high or low;
 That all love's pleasure shall not match his woe.

Я думаю, будь у меня клыки,
Я б первая его тогда убила,
Мне просто оказалось не с руки,
Он умер... Он ушел. Недолюбила...»
И, падая на жижу с мертвецом,
В крови чуть теплой мажется лицом.

На губы взглянет, но уж бледен рот,
За руку схватит — кожа ледяная,
И на ухо скабрзность вдруг шепнет,
Как будто он лежит все понимая,
Но, наконец-то, веки подняла —
Из мертвых светочей сочилась мгла.

Венера часто отражалась в них,
Но вот сегодня зеркала пусты,
Куда исчезла яркость их, живых?
Туда же, в след мгновенной красоты..
Она шепнула: «Есть один вопрос,
Ты мертв, а день как день... Что ж с ним стряслось? 11'

Итак, ты мертв... Пророчество мое:
Теперь любовь изведает печаль!
Повсюду ревность влезет в ткань ее.
О! Горя вкус у сладостных начал,
И никогда не поровну, но так,
Чтоб тонкий луч окутал страшный мрак!

'It shall be fickle, false, and full of fraud,
Bud and be blasted in a breathing-while;
The bottom poison, and the top o'erstraw'd
With sweets that shall the truest sight beguile:
 The strongest body shall it make most weak,
 Strike the wise dumb and teach the fool to speak.

'It shall be sparing and too full of riot,
Teaching decrepit age to tread the measures;
The staring ruffian shall it keep in quiet,
Pluck down the rich, enrich the poor with treasures;
 It shall be raging mad, and silly mild,
 Make the young old, the old become a child.

'It shall suspect where is no cause of fear;
It shall not fear where it should most mistrust;
It shall be merciful, and too severe,
And most deceiving when it seems most just;
 Perverse it shall be, where it shows most toward,
18 Put fear to valour, courage to the coward.

Страсть скоротечной будет, будет лживой,
Ее задушит жизни суховей;
Скрываясь под начинкою красивой,
Измены яд погубит тьму людей
 Износит тело, мозг любовник всяк,
 И станет лишь болтающий дурак...

Пусть жадничает, пусть бросает деньги,
Пусть меру потеряет в ней старик,
Бандиты будут от любви – что дети,
Чтоб гол богач, чтоб нищий был велик,
 Рождает идиотов и буянов,
 Ребят состарит, оребячит стариканов!

Пусть сеет страх, где страхи не при чем,
Пусть на ужасное ведет без дрожи,
Пусть будет благородным палачом,
Обманывая там, где «Святой Боже!»
 Коварство носит в маске прямоты,
 Герой от труса бросится в кусты.



'It shall be cause of war and dire events,
And set dissension 'twixt the son and sire;
Subject and servile to all discontents,
As dry combustious matter is to fire:
 Sith in his prime Death doth my love destroy,
 They that love best their love shall not enjoy.'

By this, the boy that by her side lay kill'd
Was melted like a vapour from her sight,
And in his blood that on the ground lay spill'd,
A purple flower sprung up, chequer'd with white;
 Resembling well his pale cheeks, and the blood
 Which in round drops upon their whiteness stood

She bows her head, the new-sprung flower to smell,
Comparing it to her Adonis' breath;
And says within her bosom it shall dwell,
Since he himself is reft from her by death:

 She crops the stalk, and in the breach appears
20 Green dropping sap, which she compares to tears.

Пусть станет основанием войны,
Отца и сына пусть поднимет в бой,
Соломинкой, рождающей огонь,
Неся знак непрощаемой вины!
 Раз сокрушила смерть всю страсть мою,
 Любить другим я права не даю!»

И тут валявшееся рядом тело
Внезапно превратилось в легкий пар...
Кровь собралась и в стебель загустела.
И вот цветок – похожий на тюльпан...
 Так был он бел, и вместе с тем багров,
 Напоминая плоть, и вместе кровь.

К цветку сейчас же прижимая нос,
Искать знакомый запах рта взялася...
И запах в сердце, как цветок, пророс...
Хоть паром плоть по ветру унеслася.
 Сорвав, к груди бессильно прижимает,
 Из стебля сок слезою выступает.



'Poor flower,' quoth she, 'this was thy father's guise,
Sweet issue of a more sweet-smelling sire
For every little grief to wet his eyes:
To grow unto himself was his desire,
 And so 'tis thine; but know, it is as good
 To wither in my breast as in his blood.

'Here was thy father's bed, here in my breast;
Thou art the next of blood, and 'tis thy right:
Lo! in this hollow cradle take thy rest,
My throbbing heart shall rock thee day and night:
 There shall not be one minute in an hour
 Wherein I will not kiss my sweet love's flower.'

Thus weary of the world, away she hies,
And yokes her silver doves; by whose swift aid
Their mistress, mounted, through the empty skies
In her light chariot quickly is convey'd;
 Holding their course to Paphos, where their queen
 Means to immure herself and not be seen.

«Бедняжечка! — шепнуло божество. —
Отец твой, цветик, так же плакал сладко,
Все слезы исторгало у него,
Все, что не он — ему бывало гадко.
Рос для себя, а ты увянь на мне,
А не в крови отцовской, так вернее.

Здесь, на груди, была его постель,
Наследовал ты право спать на ней,
В ложбинке этой будь с тобою Лель
И сердца стук вдоль вереницы дней;
Чтоб я цветка не целовала — в сутки
Без этого не минет и минутки».

Мир ей постыл. Пора из мира ей!
Двух вяхирей зовет с пустых небес,
И в колесницу диких голубей
Впрягает. Миг — и экипаж исчез...
Свой путь держи на островок Пафос.
И все... Вернуться ей не довелось.

КОММЕНТАРИЙ

Едва ли найдется человек, которому неизвестно выражение «шекспировский накал страстей». За этим скрываются кровавые заговоры, убийства и трагическая любовь, известные нам по драмам великого Шекспира. Также нам хорошо известен Шекспир сонетов: пронзительной лирической исповеди, не теряющей своего очарования уже 400 лет. Но есть еще один, мало знакомый нам, а потому вдвойне необычный Шекспир — автор поэмы «Венера и Адонис», поэмы, которая соединила в себе накал драматических страстей, тонкую лиричность сонетов, чувственность и эротизм античности и философские размышления о сущности любви.

24 Случается, причиной появления неординарного произведения искусства становится не совсем благоприятное стечение обстоятельств. Так произошло и с поэмой «Венера и Адонис». Она была написана в 1593 году, во время лондонской чумы, когда театры были закрыты на карантин, и великий драматург, в момент вынужденного прерыва, решил поднять свой престиж поэта — ведь поэзия считалась тогда выше драмы. Не случайно в посвящении своему покровителю, графу Саутгемптону, Шекспир назвал поэму «первенцем своей фантазии».

Поэма имела небывалый по тем временам успех. Она получила высокую оценку авторитетных критиков и

выдержала шесть переизданий за 13 лет — ни одна из пьес Шекспира не была столь популярна.

В чем же секрет? Как и во многих своих произведениях, Шекспир использует заимствованный сюжет. В данном случае он обращается к одному из самых известных и востребованных сюжетов античной мифологии: истории любви богини Венеры к земному юноше Адонису.

Еще в античности этот сюжет имел много трактовок; до нас дошли по меньшей мере три. Общая сюжетная линия такова: богиня Венера, рассердившись на не почитавшую ее царскую дочь (будущую мать Адониса), внушила ей страсть к родному отцу, который, ничего не подозревая, вступает в связь с дочерью, а затем проклинает ее. Боги превратили несчастную в мирровое дерево, из ствола которого родился мальчик удивительной красоты. Он стал спутником (по некоторым версиям — возлюбленным) Венеры. Разгневанная Диана (Аполлон) насылет на юношу дикого кабана, который его смертельно ранит. Венера горько оплакивает Адониса и превращает его в цветок.

Из крови Адониса вырастают розы, а из слез Венеры — анемоны. 125

Из всего многообразия сюжетных линий Шекспир выбрал только один, овидиевский мотив: Адонис не отвечает Венере взаимностью. Поэма практически лишена действия, но удерживает внимание своей красочностью, напряженной эротичностью. Однако эта поэма — не о любви. В ней происходит столкновение двух жизненных позиций, двух типов эгоизма. Венера, ослепленная

своей страстью, не видит в Адонисе живого человека. Всеми своими действиями она оскорбляет его мужское самолюбие, делая невозможным сближение. Адонис же — слишком молод, слишком поглощен юношескими забавами. Он не готов еще к серьезным чувствам, а любовь в виде распаленной страстью Венеры скорее отталкивает его. Возникает вопрос: а есть ли вообще любовь и что она означает?

Финал поэмы не ставит точку в столкновении Венеры и Адониса. Несмотря на смерть героя, их спор не разрешается чьим-либо поражением. Адонис отказывается от чувственной любви и гибнет, Венера проклиная любовь и уходит от людей.

Гений Шекспира скрыл в поэме множество смысловых пластов. Каждый открывающий ее находит наиболее близкий ему смысл, создает свой Текст и свое прочтение поэмы.

Стр. 19. *Буйнолюбивый бегал Битвобог...* — Речь идет о Марсе, боге войны, в античной мифологии — любовнике 126 (в некоторых интерпретациях муже) Венеры.

Стр. 23. *Нарцисс, да чмокнул пруд, и потонул...* — Нарцисс в греческой мифологии — юноша необычайной красоты, наказанный за безразличие к влюбленным в него женщинам. Влюбился в собственное отражение и умер от любви к себе. По другой версии — утонул, стремясь слиться со своим отражением.

Стр. 61. *Игорь князь так обложил древлян...* — Киевский князь Игорь, сын Рюрика, был известен своим корысто-

любием; в 944 году он предпринял поход на племя древлян с целью увеличения дани, однако предприятие закончилось гибелью самого Игоря.

Стр. 67. *И сух возле воды Тантала рот...* — По греческому мифу, Тантал был осужден за преступления против богов на вечные мучения: томясь жаждой, он стоит по горло в воде, но не может напиться; терзаемый голодом, не может достать плодов, окружающих его; над его головой нависает скала, ежеминутно грозящая упасть.

Стр. 105. *И Пенелопа распускает ткань...* — Речь идет о Пенелопе, жене Одиссея, ожидающей возвращения своего мужа. Пообещав своим женихам, что выберет себе мужа после того, как соткет погребальное покрывало для своего тестя, она по ночам распускала сотканное за день, чтобы работа не продвигалась.

Стр. 123. *Свой путь держа на островок Пафос.* — В городе Пафос, на острове Крит, находился храм Афродиты (Венеры), наиболее почитаемый в Греции.

М. Мельникова

*Приглашаем посетить книжные магазины
издательско-торгового дома*



ЛЕТНИЙ САД

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

Салон гуманитарной литературы
Большой пр. П. С., 82
ст. метро Петроградская
тел.: (812) 232-2104

«Университетская книга»
В. О., Менделеевская линия, 5
тел.: (812) 328-9638

Магазин в редакции журнала «Нева»
Невский пр., 3

В МОСКВЕ:

Магазин-салон «Летний сад»
Большая Никитская, 46
ст. метро Баррикадная
тел.: (095) 290-0688

Книжная лавка при РГБ
ул. Воздвиженка, 3/5, 1-й (читательский)
подъезд, тел.: (095) 222-8358

Оптовый отдел-склад
Б. Предтеченский пер., 7
ст. метро Краснопресненская
тел.: (095) 255-0198

